

Джеральд Даррел. Гончие Бафута

ВОТ МЫ И ПРИЕХАЛИ

Река Кросс осторожно, извиваясь, спускается с гор Камеруна, пока не разольется широко, заблестит, засверкает в огромной чаше лесов, окружающих Мамфе. В горах она журчала, пенилась и водопадами срывалась с уступов, а тут успокоилась и степенно потекла по своему каменистому руслу; неторопливое ее движение наносит поперек течения мели чистейшего белого песка и подмывает деревья по берегам, так что обнаженные корни кажутся массой перепутанных, шевелящихся щупалец спрута. Река величаво движется дальше, мутные воды ее кишмя кишат бегемотами и крокодилами, а в теплом воздухе над ней с криками реют синие с оранжевым и белым ласточки.

Перед Мамфе река чуть ускоряет свой бег и протискивается между двумя высокими, поросшими лесом скалистыми утесами; подножия их отшлифованы водой, а сверху потрепанным кружевом свисает кустарник. Выбравшись из узкого ущелья, река вихрем врывается в просторный овальный бассейн. Чуть дальше, из такого же ущелья, в тот же бассейн выливается еще одна река, их воды встречаются и свиваются в бурлящий клубок крохотных течений, водоворотов и всплесков, чтобы потом продолжить свой путь единым потоком, а по самой середине реки остается след их соединения — огромный сверкающий холм белого песка с отпечатками ног бегемотов и узорными цепочками птичьих следов. Близ этого песчаного островка лес на берегу переходит в небольшой луг, который окружает деревню Мамфе, и вот тут-то, на опушке леса, над спокойными мутными водами реки мы решили раскинуть наш главный лагерь.

Два дня пришлось валить лес и выравнивать землю, чтобы приготовить строительную площадку, и наконец на третий день мы со Смитом стояли на краю луга и наблюдали, как тридцать местных жителей в поте лица с громкими криками волокли огромную палатку: казалось, на взрытой красной глине валяется громадная коричневая морщинистая туша кита. Постепенно это море парусины разобрали, растянули, и оно вспучилось кверху, набухая, словно чудовищный гриб-дождевик. Потом гриб вдруг раздался в длину и вширь и обратился в палатку весьма внушительных размеров. Когда наконец выяснилось, что это такое, раздался громкий крик изумления и восторга — это кричали жители деревни, которые толпой сошлись поглядеть, как мы будем разбивать лагерь.

Итак, у нас появилась крыша над головой, но пришлось еще целую неделю изрядно потрудиться, прежде чем можно было начинать ловлю зверей. Предстояло сколотить клетки, вырыть пруды, порасспросить старейшин из ближних деревень и рассказать им, какие нам нужны звери, позаботиться о запасах продовольствия и переделать еще уйму всяких дел. Наконец, все в лагере было налажено, и мы решили, что можно начинать. Еще раньше мы договорились, что Смит останется в Мамфе и будет присматривать за главным лагерем, собирая по мелочам все, что удастся найти в ближнем лесу с помощью местных жителей, а я тем временем поеду в глубь страны, в горы, где леса уступают место поросшим густой травой равнинам. В этом горном мире с его странной растительностью и более прохладным климатом можно будет найти совсем иную фауну, нежели в жарких лесах.

Я не знал, какую часть равнин мне выбрать, на чем остановиться, и пошел посоветоваться к местному начальнику. Я объяснил ему, что мне надо, он разложил на столе карту горных районов, и мы вместе склонились над нею. Вдруг он ткнул пальцем в какую-то точку и глянул на меня.

— Как насчет Бафута? — спросил он.

— А это подходящее место? Что там за люди?

— Вас должен интересовать только один человек в Бафуте — Фон, — сказал чиновник. — Расположите его к себе, и люди сделают для вас все, что вам нужно.

— Фон? Это что, вождь?

— Он в этом краю нечто вроде римского императора, — сказал чиновник и очертил пальцем на карте большой круг. — Его слово для них закон. Этот тамошний Фон — премилый старый мошенник, и вернейший путь к его сердцу — доказать, что вы можете выпить не меньше его самого. У него там прекрасная большая вилла, он построил ее нарочно на тот случай, если к нему явятся гости-европейцы. Напишите ему, и он позволит вам остановиться у него и даже наверняка сам вас пригласит. Да в Бафут вообще стоит съездить, если вы там и не останетесь.

— Что ж, я пошлю ему записку, посмотрим, что он скажет.

— Постарайтесь хорошенько... э-э... подкрепить ваше письмо. — сказал чиновник.

— Сейчас же пойду в лавку за бутылкой подкрепляющего, — заверил я.

В тот же день в горы отправился гонец с моим письмом и бутылкой джина. Через четыре дня он вернулся с обратным посланием от Фона; этот любопытный документ необыкновенно меня воодушевил:

Резиденция Фона Бафута, Бафут, Беменда, 5 марта 1949 г. Мой дорогой друг!

Твое письмо от 3 марта получил, кстати с приложением, и оценил.

Да, я принимаю твой приезд в Бафут на время два месяца насчет твоих животных и тоже буду очень рад отдать тебе в распоряжение один дом в моих владениях, если ты мне хорошо заплатишь. *Сердечно твой Фон Бафута* Я тотчас приготовился к отъезду в Бафут.

ГЛАВА I. Жабы и танцующие обезьяны

О большинстве грузовиков в Западной Африке никак не скажешь, что они находятся в расцвете молодости и красоты, и я на горьком опыте научился не ждать от них ничего хорошего. И все же вид грузовика, который прибыл, чтобы везти меня в горы, превзошел худшие мои ожидания: казалось, он сию минуту развалится. Грузовик стоял на полуспусченных шинах, пыхтел и хрипел, изнемогая от усталости, — а ведь ему пришлось всего лишь подняться по отлогому склону небольшого холма к нашему лагерю, — и я не без трепета вверил ему мой груз и самого себя. Шофер оказался весельчаком: он сразу заявил, что мне придется ему помогать в двух весьма важных операциях. Во-первых, когда мы будем спускаться под гору, я должен нажимать на ручной тормоз, потому что, если его не прижать чуть ли не к самому полу кабины, он вообще не станет слушаться. Во-вторых, мне предстоит неотрывно следить за педалью сцепления, ибо эта весьма капризная деталь при всяком удобном случае выскакивает из муфты и при этом ревет, как попавший в ловушку леопард. Совершенно ясно, что водитель грузовика даже в Западной Африке не может вести машину, скрючившись под приборным щитком и согнувшись в три погибели, а значит, если я хочу остаться в живых после этого путешествия, мне придется помочь ему управиться со своеобразными механизмами. Итак, я то и дело нагибался, нажимал на тормоз и вдыхал удушливый запах паленой резины, а тем временем наша храбрая машина тряслась по направлению к горам с постоянной скоростью двадцать миль в час; порой, когда путь лежал под уклон, она очертя голову кидалась вперед и выдавала целых двадцать пять.

Первые тридцать миль проселочная дорога из красной глины вилась по равнине, поросшей лесом; по обе стороны дороги плотной стеной стояли огромные деревья, ветви их в вышине переплетались, образуя свод из листьев у нас над головой. Стайки птиц-носорогов, хлопая крыльями, перелетали дорогу и гоготали — казалось, это сигналили призраки каких-то древних такси на заре автомобилизма, а по обочинам, живописно расцветенным солнцем, прорвавшимся сквозь густые лиственные своды, грелись агамы; окутанные светом, они пламенели от волнения, как закатные лучи, и яростно кивали головами. Постепенно, почти неприметно дорога пошла вверх, мягко петляя по округлым склонам лесистых холмов. В кузове грузовика мои помощники громко запели:

Домой, домой, хочу домой, Когда ж увижу дом родной?

Когда увижу мать родную?

Вовек мне ее забыть мой дом..

Шофер тихонько подхватил припев и все поглядывал на меня — можно ли? К его удивлению, я тоже запел, и так грузовик катил вперед, оставляя за собой на дороге вихрь красной пыли, из кузова доносился дружный хор голосов, а мы с шофером подпевали, украшая песню всевозможными вариациями, причем он успевал еще аккомпанировать отрывистыми гудками клаксона.

Чем выше мы забирались в горы тем реже становился лес, а потом подлесок стал меняться: по обочинам дороги мрачно, как заговорщики, стояли купы тяжелых древовидных папоротников с толстыми, приземистыми волосатыми стволами; макушки их разбрызгивались зелеными фонтанами нежной листвы. Папоротники оказались первыми стражами нового мира, ибо внезапно, точно горы сбросили с плеч тяжелую одежду, исчез лес. Он остался позади, в долине, густой зеленый мех волнами уходил в мерцающую от зноя даль, а перед нами величественно высились горы, покрытые высокой, по пояс, колеблемой ветерком и высветленной солнцем, золотистой травой. Грузовик взбирался все выше и выше. мотор задыхался и вздрагивал от непривычных усилий. Мне уж подумалось, не придется ли последние две-триста сотни футов толкать злосчастную машину в гору, но, ко всеобщему изумлению, она справилась сама: вскарабкалась на вершину горы, дрожа от усталости и изрыгая из радиатора клубы пара, точно издыхающий кит — фонтаны воды. Мы вползли наверх и остановились. Шофер выключил мотор.

— Мало время обождем, двигатель перегрелся, — пояснил он, указывая на радиатор грузовика, который уже совсем скрылся из глаз в облаке пара.

Я с радостью выбрался из раскаленной кабины и побрел к тому месту, где дорога начинала спускаться в очередную долину. С этого наблюдательного пункта видна была вся местность, которую мы проехали, и та, куда нам предстояло вступить.

Позади остался нескончаемый зеленый лес, отсюда он казался плотным и густым, как шерсть барана, только на вершинах холмов можно было разглядеть просветы в непроницаемой массе листьев — на фоне неба деревья вырисовывались прерывистой бахромой. А впереди нам открывался совсем другой мир, просто невозможно было поверить, что оба они — тот и этот, — такие разные, существуют бок о бок. И смена эта происходила не постепенно, нет: позади остался лес деревьев-великанов, сверкающих в своих роскошных мантиях из лакированных листьев, подобно гигантским зеленым жемчужинам, а впереди до самого туманно-голубого горизонта цепь за цепью встают горы. сливаясь и переходя одна в другую, словно огромные застывшие волны; они как бы обращают лицо к солнцу, а склоны их от подножия до гребня покрыты пушистым золотисто-зеленым мехом травы, которая зыблется по прихоти ветра и то светлеет, то темнеет, когда ветер ее завивает или разглаживает. Лес позади расцветал то буйным багрянцем, то зеленью самых ярких и резких тонов. Впереди же все цвета этого странного горного мира были мягкими и нежными — бледно-зеленый, золотистый и все оттенки теплого желтовато-коричневого. Плавные изгибы и складки холмов, покрытые этой нежной, пастельных тонов травой, очень напоминали природу Англии — ее южные низины, только в больших масштабах. Но вот солнце здесь сверкало без усталости и нещадно палило — совсем уж не на английский лад.

Начиная отсюда дорога превратилась в «американские» горы, машина то и дело с треском и визгом тормозов спускалась в долины и вновь, кряхтя и кашляя, взбиралась на крутые склоны. На вершине одной горы мы опять постояли, чтобы остыл мотор, и тут я заметил впереди в долине деревню: издали, на фоне окружавшей ее зелени, она казалась бесформенной кучкой черных поганок. Когда выключили мотор, тишина окутала нас, точно мягким одеялом; только слышно было, как чуть посвистывает трава, колеблемая ветром, да из деревни, что лежала далеко внизу, доносился лай собак и крик петуха — звуки, смягченные расстоянием, но отчетливые, как звон колокольчика. В бинокль я разглядел в деревне какую-то суету: вокруг хижин сновали толпы людей, порой сверкали ножи, похожие на мачете, и копья, мелькали яркие саронги.

— Что там за суматоха? — спросил я шофера.

Тот взгляделся, прищурясь, и с радостной улыбкой обернулся ко мне:

— Это базар, сэр, — объяснил он и спросил с надеждой: — Маса хочет остановиться там?

— А ты думаешь, мы сможем там найти добычу?

— Да, сэр!

— По правде?

— По правде, сэр!

Я сделал вид, что рассердился.

— Ты лжешь, негодник, — сказал я. — Ты хочешь там остановиться, чтобы выпить. Разве не так?

— Да, сэр, -ухмыльнулся шофер, — только и маса там тоже найдет добычу.

— Ну ладно, остановимся ненадолго.

— Да, сэр, — радостно сказал шофер и рванул грузовик вниз по склону горы.

Большие круглые хижины с остроконечными соломенными крышами аккуратно разместились вокруг небольшой площади, затененной купами молодых эвкалиптов. Тут-то и расположился базар; торговцы разложили свой товар прямо на земле, на пестром, уютном ковре света в тени под стройными деревьями, каждый на своем клочке, а вокруг теснились деревенские жители: они протискивались между торговцами, отчаянно спорили, болтали и размахивали руками. Чем только здесь не торговали! Я просто диву давался — сколько всякой всячины, подчас самой несуразной и неожиданной! Продавались сомы, копченые на костре и насаженные на короткие палки; рыба эта и живая-то на вид не слишком привлекательна, а уж высушенная, сморщенная, почерневшая от дыма она кажется какой-то шаманской куклой, которая корчится в отвратительной пляске. Были здесь и огромные тюки тканей, все больше очень ярких расцветок — их ввозят из Англии, такие очень по вкусу африканцам; гораздо приятнее выглядели ткани местного изделия, плотные, мягкие и не столь кричащие. Среди этих ярких пятен мелькали в самых невероятных сочетаниях яйца и куры в бамбуковых корзинах, зеленый перец, капуста, картофель, сахарный тростник, огромные кровавые куски мяса; с веревок свисали большие, аккуратно выпотрошенные тростниковые крысы. Продавали и глиняную утварь, и плетеные корзины, и стулья, иголки, порох, пиво, силки для ловли птиц, плоды манго и папайи, клизмы, лимоны, местную обувь, прелестные сумки из волокна рафии, гвозди, кремни, карбид, касторку, сабли и леопардовые шкуры, парусиновые туфли, мягкие фетровые шляпы, пальмовое вино в калемасах, кокосовое и фисташковое масло в старых жестянках из-под керосина.

Посетители базара отличались таким же разнообразием и необычностью, как и товары, выставленные на продажу. Тут можно было увидеть людей народности хауса в ослепительно белых одеяниях и маленьких белых шапочках; местных вождей в многоцветных одеждах и богато расшитых шапках с кисточками; были тут и полудикие жители отдаленных горных селений — на этих не было ничего, кроме набедренных повязок из грязной кожи; зубы у них заострены, на лицах татуировка. Для них эта деревня, конечно же, многолюдная столица, а базар, возможно, самое веселое развлечение за целый год. Они яростно спорили, размахивали руками, подталкивали друг друга, их темные глаза сверкали восторгом при виде таких вещей, как яме или какая-нибудь тростниковая крыса; чаще всего они стояли тесной кучкой и не сводили жадных глаз с высоких кип разноцветных тканей — купить их они и не надеялись — и лишь изредка меняли свой наблюдательный пункт, чтобы лучше видеть эту недостижимую роскошь.

Моих помощников и шофера засосало в красочном водовороте толпы, как муравьев в банке патоки, и я оказался предоставлен самому себе. Я немного побродил вокруг, потом подумал, не поснимать ли жителей горных селений, вынул фотоаппарат и стал наводить на фокус. Что тут началось! Ад кромешный: торговцы вмиг побросали свои товары и все пожитки и с дикими криками кинулись в ближайшее укрытие. Я даже растерялся — ведь африканцы обычно очень любят сниматься — и спросил у стоявшего рядом хауса, что случилось. Последовало любопытное объяснение: видимо, горцы уже знают, что если

фотоаппарат направить на человека, потом получается его портрет. Но они твердо уверены, что вместе со снимком к фотографу переходит частичка души того, кто фотографируется, и, если снимков сделать много, фотограф обретет над ним полную власть. Отличный пример колдовства вполне современными средствами: в старину вы получали власть над человеком, если завладевали прядкой его волос или обрезками когтей; в наши дни для той же цели, очевидно, вполне годится фотокарточка. И все-таки, хотя горцы вовсе не желали мне позировать, я ухитрился сделать несколько снимков очень простым способом: становился к ним боком и глядел в другую сторону, а сам щелкал аппаратом из-под мышки.

Однако вскоре я обнаружил нечто такое, от чего все мысли о фотографии и колдовстве сразу вылетели у меня из головы. В одной из маленьких темных палаток, которые окружали площадь, мелькнуло что-то рыжевато-красное, я двинулся туда и увидел очаровательную обезьянку: привязанная длинной веревкой за шею, она сидела на корточках в пыли и громко, пронзительно кричала «прруп!». Шерсть у нее была светло-рыжая, на груди белая манишка, а мордочка — траурно-черная. «Ее „прруп“ звучало не то криком птицы, не то дружеским кошачьим мурлыканьем. Несколько секунд она очень внимательно меня разглядывала, потом вдруг вскочила и пустилась в пляс. Сперва она встала на ноги и начала высоко подпрыгивать, широко раскинув руки, точно собиралась прижать меня к груди. Потом опустилась на четвереньки и принялась скакать из стороны в сторону как мяч, взлетая высоко в воздух. При этом она, видно, все больше входила во вкус и прыгала все выше. Затем последовала короткая передышка — и новые па: теперь обезьяна стояла на четвереньках, плечи и вся передняя половина ее туловища раскачивались, как маятник, а задняя оставалась совершенно неподвижной. Основная схема танца была ясна — и тут обезьяна показала мне, на что способна подлинно искусная, опытная танцовка из обезьяньего племени: она вертелась волчком, прыгала и скакала так, что у меня голова пошла кругом. Обезьяна приглянулась мне с первого взгляда, а эта неистовая пляска дервиша совсем меня покорила, и, конечно же, я просто не мог не купить танцовщицу. Я заплатил ее владельцу двойную цену и с торжеством унес обезьяну. В какой-то палатке я тотчас купил ей связку бананов, и она была так тронута моей щедростью, что тут же меня отблагодарила: обмочила мне всю рубашку. Я отыскал всех своих и шофера — от них так и несло пивом, — мы погрузились в машину и поехали дальше. Обезьяна сидела у меня на коленях, запихивала в рот бананы, обозревала окрестности из окна кабины и слегка повизгивала от волнения и удовольствия. В знак признания ее танцевальных талантов я решил назвать ее „Балерина“ и впредь мы ее так и звали — „красная мартышка Балерина“.

Наше путешествие длилось еще несколько часов, и к концу его в долины хлынули темно-лиловые тени, а солнце неторопливо погружалось в несчетные пунцово-зеленые перистые облачка за самыми высокими вершинами западных гор.

Мы сразу поняли, что наконец достигли цели, потому что у Бафута дорога просто кончилась. Слева тянулся огромный пыльный двор, окруженный высокой стеной из красного кирпича. За стеной разместилось множество круглых хижин с высокими соломенными крышами, они теснились вокруг небольшой чистенькой виллы. Но все эти строения казались крохотными и жалкими по сравнению с огромным сооружением, похожим на диковинный улей, только увеличенный в тысячу раз. Это была огромная круглая хижина с толстенной соломенной крышей куполом, загадочная и черная от старости. По другую сторону дороги начинался крутой подъем, вверх тянулась широкая лестница ступеней в семьдесят — она вела к большой двухэтажной вилле в форме коробки для обуви, каждый этаж ее обведен был широкой сплошной верандой и обе веранды обильно увиты бугенвиллеей и другими выющимися растениями. Так, значит, вот он какой — мой дом на ближайшие несколько месяцев.

Не успел я с трудом выбраться из кабины грузовика — ноги совсем затекли, — как под аркой в дальней стене большого двора открылась дверь и ко мне через весь двор направилась небольшая процессия. Это были мужчины, в большинстве пожилые; их развевающиеся многоцветные одеяния шелестели на ходу, голову каждого покрывала маленькая круглая

шапочка, богато расшитая разноцветной шерстью. Посреди этой группы шагал высокий стройный человек с живым улыбчивым лицом. На нем была простая белая одежда и шапочка без всяких украшений, и все же, несмотря на это, я тотчас понял, что в этой яркой толпе он самый главный — так величава была его осанка. Это был Фон — правитель Бафута, огромного лугового королевства, которое мы пересекли на пути сюда, и многого множества чернокожих подданных. Я знал, что он сказочно богат и правит своим королевством толково и умно, хоть и несколько деспотично. Фон остановился передо мной, приветливо улыбнулся и протянул мне большую тонкую руку.

— Милости просим, — сказал он.

Позднее я убедился, что он говорит на ломаном английском не хуже своих подданных, но почему-то стесняется этого умения, и вначале мы разговаривали через переводчика; тот стоял рядом, почтительно склонившись, и переводил мою приветственную речь, прикрывая рот руками, сложенными лодочкой. Фон вежливо слушал, пока я говорил, а переводчик переводил, потом взмахнул большой рукой и указал на виллу, стоявшую на вершине холма по ту сторону дороги.

— Отлично! — сказал он и широко улыбнулся.

Мы снова обменялись рукопожатием, он зашагал со своими советниками назад через двор и скрылся за дверью под аркой, предоставив мне самому располагаться в его вилле.

Часа через два, когда я уже принял ванну и перекусил, ко мне явился гонец и сообщил, что Фон хотел бы зайти ко мне потолковать, если, конечно, я успел немного отдохнуть с дороги. Я ответил, что вполне отдохнул и буду счастлив принять Фона; потом я извлек из чемодана бутылку виски и стал ждать. Вскоре он прибыл в сопровождении своей маленькой свиты, мы уселись на веранде, где уже горела лампа, и принялись болтать. Я выпил за его здоровье виски с водой, а он за мое — чистого виски. Сначала мы разговаривали через переводчика, но когда уровень виски в бутылке изрядно понизился, Фон заговорил по-английски. Добрых два часа я подробно рассказывал ему о том, зачем я сюда приехал, показывал книги и фотографии нужных мне зверей, рисовал их на клочках бумаги и, когда все остальное не доходило, пытался подражать их голосам, а между тем стакан Фона неукоснительно наполнялся опять и опять — просто страшно становилось.

Он сказал, что, надо думать, мне удастся добыть почти всех зверей, которых я ему показывал, и обещал назавтра прислать искусных охотников. Но, пожалуй, лучше он сам объявит людям, что мне нужно, продолжал Фон, и они все постараются поймать для меня добычу, а самый удобный случай объявить об этом представится дней через десять. Тогда состоится некая церемония: как я понял, в назначенный день его подданные всегда собирают в горах и долинах огромное количество сухой травы и приносят ее в Бафут, чтобы Фон мог перекрыть крышу своей громадной таинственной обители и крыши жилищ своих бесчисленных жен. Когда траву приносят, он задает пир на весь мир. На торжество собираются многие сотни людей со всех окрестных мест, и, как объяснил Фон, удачней случая не придумаешь: он произнесет речь и растолкует людям, чего я от них хочу. Я с радостью согласился, от души и довольно многословно его поблагодарил и в очередной раз наполнил его пустой стакан. Бутылка быстро пустела, наконец в ней не осталось ни капли — хоть ставь ее вверх дном. Тогда Фон величественно поднялся на ноги, подавил икоту и протянул мне руку.

— Я пошел, — заявил он и помахал рукой куда-то в сторону своей маленькой виллы.

— Мне очень жаль, — учтиво сказал я. — Хочешь, я пойду провожу?

— Да, мой друг! — просиял он. — Да, отлично!

Я кликнул одного из его свиты, и тот примчался стремглав, держа в руке фонарь-«молнию». Светя этим фонарем, он пошел впереди нас по веранде и дальше, к той длинной лестнице. Фон все еще не выпускал мою руку, а другой рукой обводил веранду, комнаты и залитый лунным светом сад далеко внизу и, очень довольный, бормотал про себя: «Отлично, отлично». Когда мы добрались до лестницы, он приостановился, с минуту задумчиво глядел на меня, потом ткнул длинной рукой вниз.

— Семьдесят пять ступеньки, — сказал он и просиял.

— Очень хорошо, — согласился я и кивнул.

— Сейчас мы их считаем, — предложил Фон, в восторге от своей затеи. — Семьдесят пять, мы их считаем.

Он обхватил меня за плечи, всей тяжестью повис на мне, и мы начали спускаться на дорогу, не переставая громко считать ступеньки. Фон помнил английский счет только до шести, остальные цифры он забыл: на полпути мы сбились, что-то перепутали и, когда добрались до нижней площадки, оказалось, что по его расчетам трех ступенек не хватает.

— Семьдесят два? — спросил он сам себя. — Нет, нет, семьдесят пять. Куда же подевался остальные?

И гневно оглядел свою съезжившуюся от страха свиту, что ждала нас внизу, на дороге, будто подозревал, что его приближенные спрятали недостающие три ступеньки у себя под одеждой. Я поспешно предложил пересчитать все заново. Мы опять вскарабкались наверх до самой веранды, считая изо всех сил, потом, для окончательной проверки, считали всю дорогу вниз. Сосчитав до шести. Фон всякий раз начинал сызнова, так что я очень скоро понял: если я не хочу всю ночь бродить вверх и вниз по этой лестнице, разыскивая недостающие ступеньки, надо что-то предпринять. Поэтому, когда мы дошли до самого верха и опять спустились вниз, я громко, торжественно провозгласил: «Семьдесят пять!» и радостно улыбнулся моему спутнику. Сперва он не очень охотно согласился с моим счетом, ибо сам дошел только до пяти и был уверен, что существование остальных семидесяти надо еще как-то доказать. Однако я заверил его, что в юности получил немало наград за устный счет и что все сосчитано правильно. Фон прижал меня к груди, потом схватил за руку, с силой стиснул ее и пробормотал: «Отлично, отлично, мой друг». Наконец он двинулся через огромный двор к своей резиденции, а я потащился наверх (по семидесяти пяти ступенькам) к своей кровати.

Весь следующий день, преодолевая отчаянную головную боль — результат вчерашней попойки с Фоном, — я усердно сколачивал клетки в надежде, что мне вот-вот начнут приносить «добычу». В полдень ко мне явились четверо высоких, внушительного вида молодых людей в ярких праздничных саронгах, с кремневыми ружьями в руках. Это устрашающее оружие было невообразимо древнее, стволы изъедены ржавчиной и вид у них такой, точно каждое ружье перенесло оспу в тяжелейшей форме. Я заставил молодых людей вынести опасное оружие за ворота и сложить его там и только потом разрешил им подняться ко мне. Это и были охотники, которых прислал Фон; с полчаса я показывал им фотографии зверей и объяснял, сколько за какого зверя буду платить. Потом я велел им идти на охоту, а вечером доставить сюда ко мне все, что они поймают. Если же они ничего не поймают, пусть приходят на следующее утро. Я оделил их сигаретами, и они побрели по дороге, о чем-то оживленно переговариваясь и увлеченно тыкая ружьями во все стороны.

В тот же вечер один из четверых вернулся с маленькой корзинкой. Он присел на корточки, жалобно поглядел на меня и стал объяснять, что ему и его товарищам по охоте не очень-то повезло на этот раз. Они ходили далеко, сказал он, но не нашли ни одного зверя из тех, что я им показывал. Впрочем, кое-что они все-таки добыли. Тут он подался вперед и поставил корзинку к моим ногам.

— Не знаю, маса хочет такой добыча? — спросил он.

Я приподнял крышку и заглянул в корзинку. Я надеялся, что увижу белку или, может, крысу, но там сидела пара больших прекрасных жаб.

— Маса нравится такой добыча? — спросил охотник, с тревогой вглядываясь мне в лицо.

— Да, очень нравится, — сказал я, и он расплылся в улыбке.

Я уплатил ему что положено, наделил сигаретами, и он отправился восвояси, пообещав вернуться наутро вместе со своими друзьями. Когда он ушел, я мог наконец заняться жабами. Каждая была величиной с блюдце, глаза огромные, блестящие, а короткие толстые лапы, казалось, не без труда поддерживали тяжелое тело. Расцветка у них была просто

изумительная: спинка густого кремового цвета, в крошечных извилистых черных полосках; с боков голова и тело темно-красные, цвета то ли вина, то ли красного дерева, а живот — ярко-желтый, цвета лютика.

Надо сказать, что жабы всегда были мне симпатичны, ибо я убедился, что они существа спокойные, благонравные и в них есть какая-то своя прелесть: они не так неуравновешенны и не так придурковаты и неуклюжи, как лягушки, кожа у них на вид не такая мокрая и они не сидят с разинутым ртом. Но до встречи с этими двумя я воображал, что, хотя жабы по расцветке и вообще по внешнему виду бывают очень несхожи, нрав у них у всех примерно один и тот же: если знаешь одну, можно считать, что знаешь всех. Однако, как я очень скоро обнаружил, характер у этих двух земноводных столь своеобразен, что ставит их чуть ли не наравне с млекопитающими.

Эти существа называются жабами-сухолистками, потому что необычные кремовые (с темными прожилками) их спины по цвету и рисунку очень напоминают сухой лист. Если такая жаба замрет на земле в осеннем лесу, ее никак не различить среди опавших листьев. Отсюда их английское название. Научное же название — бровастая жаба, а по-латыни они называются еще удачнее — *Bufo superciliaris* *, ибо такая жаба на первый взгляд кажется необычайно надменной. Кожа над большими глазами как бы вздернута и собрана острыми уголками, так что полное впечатление, будто жаба подняла брови и глядит на мир свысока, с язвительной насмешкой.

• *Bufo superciliaris* (лат.) — буквально спесивая жаба. *Примеч. ред.* Широко растянутый рот подбавляет жабе аристократической надменности: углы его слегка опущены, словно жаба усмехается; такое выражение я видел еще только у одного животного на свете — у верблюда. Прибавьте к этому неторопливую, покачивающуюся походку и привычку через каждые два-три шага присаживаться и глядеть на вас с какой-то презрительной жалостью, и вы поймете, что перед вами самое надменное существо на свете.

Обе мои сухолистки сидели рядышком на дне корзины, выстланном свежей травой, и глядели на меня с уничтожающим презрением. Я наклонил корзинку, и они вперевалочку вылезли на пол, исполненные достоинства и негодующие — ни дать ни взять два лорд-мэра, которых ненароком заперли в общественной уборной. Они отошли фута на три от корзинки и уселись, слегка задыхаясь, — видимо, совсем выбились из сил. Минут десять жабы пристально меня разглядывали и с каждой минутой явно все сильнее презирали. Потом одна двинулась в сторону и пристроилась у ножки стола, должно быть, приняв ее за ствол дерева. Вторая продолжала меня разглядывать и по зрелом размышлении, видно, составила обо мне такое мнение, что ее вырвало и на полу оказались полупереваренные останки кузнечика и двух бабочек. Тут жаба кинула на меня укоризненный и страдальческий взгляд и зашлепала к ножке стола, где сидела ее подруга.

Подходящей для них клетки у меня не нашлось, и сухолистки провели первые несколько дней взаперти у меня в спальне; там они медленно, задумчиво бродили по полу или сидели, погруженные в глубокое раздумье, под кроватью — словом, несказанно развлекали меня своим поведением. Прошло всего несколько часов с нашего знакомства, а я уже убедился, что был глубоко несправедлив к своим толстушкам-сожительницам: они оказались вовсе не такими самодовольными и надменными, какими притворялись. На самом деле это робкие и застенчивые создания, они легко смущаются и начисто лишены самоуверенности: я подозреваю, что они даже страдают глубоким, неискоренимым комплексом неполноценности и их невыносимо важный вид — всего лишь попытка скрыть от мира неприглядную истину: они ничуть в себе не уверены. Это я совершенно случайно обнаружил в первый же вечер их пребывания в моей спальне. Я записывал их расцветку, а жабы сидели у моих ног на полу и вид у них был такой, точно они обдумывали свои биографии для записи в Книгу лордов. Мне надо было осмотреть повнимательней нижнюю половину их тела, поэтому я нагнулся и поднял одну из них двумя пальцами; я обхватил ее за туловище под передними лапками так, что она болталась в воздухе и вид у нее при этом был самый жалкий — в такой позе просто немислимо сохранить достоинство. Потрясенная

подобным обращением, жаба громко, негодуя закричала и лягнула воздух толстыми задними лапками, но где ей было от меня вырваться! И ей пришлось болтаться в воздухе, пока я не закончил осмотра. Но когда я наконец посадил ее на прежнее место рядом с подругой, это была уже совсем другая жаба. В ней не осталось и следа прежнего аристократического высокомерия: на полу сидело сломленное, покорное земноводное. Жаба вся съежилась, большие глаза тревожно моргали, на физиономии ясно выражались печаль, и робость. Казалось, она вот-вот заплачет.

Превращение это произошло столь внезапно и бесповоротно, что можно было только изумляться, и, как это ни смешно, я очень огорчился — ведь это я так ее унизил! Чтобы хоть как-то сгладить случившееся, я поднял вторую жабу, дал и ей поболтаться в воздухе — и эта тоже сразу утратила свою самоуверенность: едва я опустил ее на пол, она тоже стала робкой и застенчивой. Так они и сидели, приниженные, несчастные и выглядели до того забавно, что я бестактно расхохотался. Этого их чувствительные души вынести уже не могли: обе тотчас поспешно двинулись прочь от меня, спрятались под столом и просидели там добрых полчаса. Зато теперь, когда я открыл их тайну, я мог сбивать с них спесь когда угодно: надо было только легонько щелкнуть их пальцем по носу, и они тут же виновато съеживались, точно вот-вот покраснеют от смущения, и глядели на меня умоляющими глазами.

Я построил для моих сухолисток большую удобную клетку, и они прекрасно там устроились; впрочем, заботясь об их здоровье, я разрешал им каждый день выходить на прогулку в сад. Правда, когда животных стало больше, у меня оказалось столько работы, что я уже не мог стоять и ждать, пока мои аристократки — голубая кровь — надышатся воздухом; к большому их неудовольствию, прогулки пришлось сократить. Но однажды я случайно нашел для них сторожа, на чье попечение мог спокойно их оставлять, не прерывая работы. Этим сторожем оказалась красная мартышка Балерина.

Балерина была на редкость ручная и очень деликатная обезьяна, и она живо интересовалась всем, что происходило вокруг. Когда я впервые выпустил сухолисток на прогулку поблизости от того места, где была привязана Балерина, обезьяна уставилась на них как завороченная: она встала на задние ноги и всячески выворачивала шею, стараясь не упустить их из виду, пока они важно шествовали по саду. Через десять минут я вернулся в сад поглядеть, как там мои жабы, и обнаружил, что обе они подошли прямо к обезьяне. Балерина сидела между ними на корточках, нежно их гладила и громко что-то бормотала от удивления и удовольствия. У жаб вид был до смешного довольный, они сидели на шевелясь: эти ласки явно доставляли им удовольствие.

После этого я каждый день выпускал жаб возле того места, где была привязана Балерина, и она за ними присматривала, пока они бродили вокруг. Завидев их, обезьяна вскрикивала от восторга, потом нежно их поглаживала до тех пор, пока они не оставались лежать подле нее без движения, как загипнотизированные. Если они отходили чересчур далеко и могли скрыться в густом кустарнике на опушке сада, Балерина ужасно волновалась и звала меня пронзительными криками, стараясь дать мне знать, что ее подопечные убегают и я должен поскорее поймать их и принести обратно к ней. Однажды она позвала меня, когда жабы забрели слишком далеко в поле, но я не услышал, и, когда позднее спустился в сад, обезьяна истерически металась на привязи, натянув веревку до отказа и отчаянно кричала, а жаб нигде не было видно. Я отвязал обезьяну, и она тотчас повела меня к густым кустам на краю сада; там она очень скоро нашла беглянок и припала к ним с громкими радостными криками.

Балерина ужасно привязалась к этим жабам. Видели бы вы, как нетерпеливо она здоровалась с ними по утрам, как нежно гладила и похлопывала, как волновалась, когда они забредали слишком далеко, — это было поистине трогательное зрелище! Она только никак не могла понять, почему у них нет шерсти, как у обезьяны. Она трогала пальцами их гладкую кожу, пыталась раздвинуть несуществующую шерсть, и на ее черном личике явственно читалась тревога; порой она наклонялась и начинала задумчиво лизать им спину. Впрочем, довольно скоро их безволосые спины перестали ее тревожить и она обращалась с ними

нежно и любовно, как с собственными детенышами. Жабы на свой лад тоже привязались к обезьяне, хоть она порой и унижала их достоинство, а это им бывало не по нраву. Помню, однажды утром я их выкупал, что доставило им немалое удовольствие, а по дороге через сад домой к их мокрым животам прилипли мелкие щепочки и комья земли. Это очень огорчило Балерину, ей хотелось, чтобы ее любимцы были всегда чистенькие и аккуратные. И вот я застал такую картину: обезьяна сидела на солнышке, задние ноги ее, как на подставке, покоились на спине одной жабы, а другая сухолистка болталась в воздухе — обезьяна держала ее на весу в самом неудобном и унижительном положении. Жаба медленно кружилась в воздухе, а обезьяна озабоченно обирала с нее всякий мусор и все время попискивала и повизгивала

— что-то объясняла. Покончив с одной жабой, Балерина опустила ее на землю, где та осталась сидеть притихшая, подавленная, и принялась за другую — подняла ее в воздух и заставила пережить то же унижение. Да, в присутствии Балерины сухолисткам никак не удавалось проявлять свое аристократическое высокомерие.

ГЛАВА II. Гончие Бафута

Для ловли различных представителей животного мира Бафута в моем распоряжении имелись четыре охотника, которых прислал мне Фон, а сверх того

— свора из шести тощих, нескладных дворняжек; их владельцы уверяли меня, что это лучшие охотничьи собаки во всей Западной Африке. Всю эту разношерстную компанию я прозвал Гончими Бафута. Охотники, конечно, не понимали этого названия, но чрезвычайно им гордились, и однажды я услышал, как один из них в споре с соседом громко и возмущенно заявил: «Ты на меня не кричи, мой друг. Не знаешь что ли — я тоже Гончая Бафута!»

Охотились мы так: уходили в какую-нибудь долину подальше или в горы и выбирали место, где трава и кусты погуще. Там мы полумесяцем раскидывали сети, а потом ходили по подлеску с собаками и загоняли в сети все, что попадалось. У каждой собаки на ошейнике висела маленькая деревянная погремушка, и когда вся свора скрывалась в высокой траве, по громкому брнчанию этих украшений всегда можно было определить, где собаки. Такой способ охоты был очень удобен — я всегда оказывался на месте и мог сразу же заняться пойманными животными: их тотчас увозили в Бафут и без промедления помещали в удобную клетку. Мы перевозили их в мешках с отверстиями для доступа воздуха (отверстия эти были оправлены кольцами из латуни, чтобы их нельзя было разорвать изнутри); мешки для более крупных и свирепых зверей сшиты были из брезента или дерюги, а для мелких и безобидных — из ткани помягче. Очутившись в темном мешке, наши пленники, как правило, переставали отбиваться и лежали смирно до тех пор, пока не попадали в клетку; для животного страшней всего были те минуты, когда его выпутывали из сети, но уже очень скоро мы так набили руку, что проделывали это необыкновенно ловко: минута-другая — и животное уже схвачено, извлечено из сети и упрятано в мешок.

В первый день, когда я выступил в поход с Гончими Бафута, охотники вооружились так, словно мы собрались охотиться на львов. В придачу к обычным ножам они взяли с собой копья и кремневые ружья. Мне вовсе не хотелось по чьей-то оплошности получить в бок заряд ржавых гвоздей и камешков, а потому, несмотря на горестные мольбы охотников, я настоял, чтобы ружья остались дома. Охотники просто в ужас пришли от моего решения.

— Маса, — жалобно возразил один. — Если мы встретим опасный добыча, как мы его убивать, если ружье лежать здесь?

— Если мы встретим опасную добычу, мы не станем ее убивать, а поймем,

— решительно объявил я.

— А? Маса будет поймать опасный добыча?

— Именно так, друг мой. А если ты боишься — не ходи с нами, понял?

— Маса, я не боюсь, — с негодованием возразил охотник, — Только если мы

встретить опасный добыча и он убить маса, тогда Фон много сердиться.

— Умолкни, мой друг, — сказал я и достал свое охотничье ружье. — Я возьму ружье. И тогда, если добыча убьет меня, это уж не ваша забота, ты понял?

— Я понял, сэр.

Утро только занималось, и солнце еще не поднялось над горными цепями, что окружали Бафут. Небо было нежнейшего розового оттенка, и на нем там и сям белели кружевные облачка. Долины и горы все еще обволакивал и скрывал от глаз утренний туман, а высокая золотистая трава вдоль дороги склонялась под тяжестью росы. Охотники гуськом шагали впереди, а собаки то разбегались по кустам, то возвращались, и погремушки их весело побрякивали со всех сторон. Наконец мы свернули с дороги на узкую извилистую тропинку, что вела через холмы. Здесь туман был гуще, но стлался низко, по самой земле. Он совсем закрывал наши ноги, и это было очень странно — будто бредешь по поясу в ровном, чуть зыблющемся пенном озере. Высокая трава, влажная от росы, похрустывала под моими подошвами, а вокруг, где-то в глубине этого молочно-белого озера тумана, поминутно раздавались взрывы хохота — это крохотные лягушки потешались над чем-то, понятным лишь им одним. Вот и солнце встало над дальней кромкой гор, точно огромный замороженный апельсин, с каждой минутой лучи его грели все жарче, туман начал подниматься и легкими спиралями и кольцами заструился ввысь: вскоре уже казалось, будто мы идем сквозь лес призрачных белых деревьев, которые извиваются, гнутся, распадаются и возникают вновь, причудливо меняя форму с легкостью амебы, и все тянутся вверх, точно ввинчиваются в воздух.

Через два часа мы добрались до места, которое охотники выбрали для нашей первой охоты. Эта довольно широкая и глубокая долина лежала между двумя грядами холмов, чуть изгибаясь наподобие лука. Крохотный ручеек проложил себе путь по дну долины, между черными глыбами камней и золотистыми лугами; он сверкал на солнце, словно тончайшая стеклянная паутина. Долина здесь почти сплошь поросла высокой, непролазно-густой травой и мелким кустарником: местами, отбрасывая тень на траву, поднимались кусты повыше и молодые деревца.

Мы спустились в долину и растянули поперек нее ярдов сто сетей. Потом охотники позвали собак и пошли ко входу в долину, а я остался возле сетей. На полчаса установилась тишина — охотники с собаками медленно двигались к сетям, лишь побрякивали деревянные погремушки на ошейниках собак, да, случалось, пронзительно ругнется, наступив на колючку, какой-нибудь незадачливый охотник. Я уже начинал думать, что ничего мы сегодня не поймем, как вдруг охотники подняли неистовый крик, а собаки залились яростным лаем. Они были еще довольно далеко от сетей, и я их не видел за небольшой купой деревьев.

— Что там у вас? — завопил я, стараясь перекричать весь этот шум.

— Тут есть добыча, маса, — донесся ответ. Я терпеливо ждал, и наконец из-за деревьев показался задыхающийся от бега охотник.

— Маса, дай мне вон тот маленький сеть. — сказал он, указывая на мелкие сети, аккуратно сложенные возле мешков.

— А какую добычу вы там нашли? — спросил я.

— Белка, сэр. Он убежал на дерево.

Я взял толстый брезентовый мешок и пошел за ним сквозь кусты к деревьям. Тут столпились охотники, они говорили все разом и отчаянно спорили, как лучше достать зверька, а собаки лаяли и прыгали вокруг небольшого деревца.

— Где ваша добыча? — спросил я.

— Он вон там, маса, наверху.

— Хороший добыча, маса!

— Мы сейчас его поймать, маса!

Я подступил к самому стволу, задрал голову и стал вглядываться в листву: футах в двадцати над ними на ветке сидела большая красивая белка — шерстка полосато-серая,

белая полоска на ребрах, а лапки оранжевые. Хвост длинный, но не пушистый, в поперечных полосках, точно светло-серые и черные кольца. Белка сидела на ветке, махала на нас хвостом и довольно сердито кричала: «Чак! чак!», точно мы ее не испугали, а только разозлили. Мы принялись раскидывать сети вокруг дерева футах в десяти от его ствола, а белка следила за нами злобным взглядом. Потом мы привязали собак, и я велел самому малорослому из охотников вскарабкаться на дерево и согнать белку вниз. Вторая часть операции была предложена самими охотниками; я думал, справиться с белкой на дереве — задача невыполнимая, но охотники уверяли, что если кто-нибудь залезет на дерево, белка непременно спустится на землю. И они оказались совершенно правы: не успел охотник добраться до верхних ветвей с одной стороны ствола, как белка кинулась вниз по другой его стороне. Просто чудо, как она сообразила броситься к тому единственному месту, где сеть была чуть-чуть порвана, протиснулась в дыру и поскакала прочь по траве, а мы очертя голову бросились в погоню, на бегу все разом выкрикивали друг другу всяческие мудрые советы и распоряжения, и, конечно же, никто не обращал на них никакого внимания. Мы только успели обогнуть группу кустов, как увидели нашу белку — она бежала вверх по стволу другого невысокого деревца.

Мы опять расставили сети, и опять охотник полез на дерево, чтобы согнать белку вниз. Но на этот раз она оказалась еще хитрей: она заметила, что мы караулим дыру в сетях, через которую она улизнула в первый раз, сбежала по стволу на землю, сжалась в комочек и прыгнула. Пролетела по воздуху в полудюйме над сетью и опустилась по ту сторону. Стоявший ближе других охотник сделал отчаянный рывок, но промахнулся, и белка ускакала прочь, без умолку с негодованием твердя свое «чак! чак!». На сей раз она избрала другую тактику: вместо того чтобы взлететь на дерево, юркнула в ямку между корнями.

И опять мы окружили дерево сетями и начали шарить длинными тонкими прутьями в лабиринте корней, среди которых она пряталась. Но из этого тоже ничего не вышло, только «чак! чак!» раздавалось все чаще, и мы скоро отступились.

Следующая наша попытка, однако, оказалась более успешной: мы засунули в самое большое отверстие пучок тлеющей травы, удушливый дым распространился по всем извилам и ходам лабиринта, и мы услышали сердитое чихание и кашель. Под конец белка не выдержала и выскочила из-под корней, прямо головой в сеть. Но и тут она еще не сдалась — пока ее выпутывали из сетей, она укусила меня и двух охотников впридачу, а когда ее засовывали в брезентовый мешок — третьего. Потом я повесил мешок на ветки ближайшего кустика, и все мы уселись покурить — после трудов праведных это было просто необходимо, — а белка глядела на нас сквозь латунные кольца отверстий и злобно кричала, будто бросала нам вызов: ну-ка, попробуйте открыть мешок и встретиться со мной лицом к лицу!

Полосатые земляные белки широко распространены на зеленых равнинах Западной Африки, но я был очень доволен, что поймал хоть одну — таких у меня еще не бывало. Как ясно из их названия, эти белки живут почти исключительно на земле, и я порядком удивился, что наша пыталась найти убежище на дереве. Позднее я обнаружил, что все белки, которые живут в лугах (большинство их действительно земляные), в минуту опасности кидаются к деревьям и только в самом крайнем случае ищут спасения среди корней или в дуплах гнилых деревьев.

Наконец мы перевязали свои раны, покурили и поздравили друг друга с первой добычей, потом передвинули большую сеть дальше по долине; здесь трава была густая, перепутанная, высотой чуть ли не в шесть футов. Это отличное место для особенной добычи, сказали мне охотники, хотя из вполне понятной осторожности не пожелали уточнить — для какой именно. Мы расставили сети, я устроился в удобном месте где-то посредине, внутри дуги, чтобы сразу же извлечь оттуда то, что попадет, а охотники взяли собак и ушли примерно на четверть мили дальше по долине. Высоким протяжным криком они дали мне знать, что стали пробиваться сквозь густую траву, и тут наступила тишина. Лишь трещали и пощелкивали вокруг бесчисленные цикады и кузнечики да издали чуть слышались собачьи

погремушки. Прошло полчаса — ничего! Со всех сторон меня теснила шелестящая чаща высокой травы, такая густая и дремучая, что в двух шагах уже ничего не разглядеть.

Крохотная прогалинка, где я сидел, пылала зноем, мне ужасно захотелось пить; я огляделся и вдруг вспомнил, что мой заботливый повар сунул в один из мешков термос с чаем, а я совсем было о нем забыл. Я с благодарностью вытащил термос, уселся на корточках на самом краю прогалины среди высокой травы и налил себе чаю в стаканчик от термоса. Я пил, поглядывал по сторонам и вдруг заметил прямо перед собой в сплошной стене травы узкий, темный проход — его явно протоптал в травяном лесу какой-то зверь: я решил, когда покончу с чаепитием, обследовать этот проход.

Не успел я налить себе второй стаканчик, как справа, совсем рядом раздался отчаянный шум и гам: охотники пронзительными криками подбадривали собак, а собаки заливались неистовым лаем. «Что у них там происходит?» — подумал я, и вдруг в траве послышался шорох: я придвинулся поближе к темному проходу в надежде разглядеть, что там шуршит. Внезапно трава раздвинулась, оттуда выскочило нечто темно-бурое и ринулось прямо на меня. Я нападения никак не ожидал, да еще сидел на корточках и держал в одной руке термос, а в другой стаканчик с горячим чаем. Животное, которое со страху показалось мне вдвое крупней бобра, прыгнуло прямо мне на грудь; от неожиданности я опрокинулся на спину, зверек стоял у меня на животе, а из термоса прямо мне на колени лился обжигающий чай. Оба мы одинаково удивились и, кажется, одинаково завизжали от страха. Руки у меня были заняты, я попытался стиснуть зверька локтями, но он соскочил с меня, точно резиновый мяч, и ускакал в траву. Сеть в одном месте стала подергиваться и трястись, и до меня донесся отчаянный визг — видно, мой незнакомец угодил прямо в нее. Я закричал охотникам и с трудом пробрался сквозь густую траву туда, где шевелилась сеть.

Зверек основательно в ней запутался и теперь лежал весь скорчившись, вздрагивал и пугливо фыркал; то и дело он безуспешно пытался перекусить петли сети острыми зубами. Теперь я его разглядел как следует. В сеть попалась очень большая тростниковая крыса, животное, известное африканцам под именем траворезки, что очень точно передает его повадки: своими большими, отлично развитыми резцами траворезка проходит по лугам, да и по засеянным полям, как косилка. В длину она два с лишним фута и покрыта грубой коричневой шерстью. Мордочка круглая, как у бобра, маленькие уши плотно прижаты, хвост толстый, безволосый, и большие лапы, тоже безволосые. Она, видно, до полусмерти испугалась меня, и я не стал подходить ближе, пока не подоспели охотники, — боялся, как бы она все-таки не вырвалась из сетей. Крыса лежала и судорожно вздрагивала, а порой дергалась, пыталась подскочить в воздух и всякий раз при этом отчаянно взвизгивала. Я изрядно встревожился

— вдруг у нее сейчас будет разрыв сердца? Только много позднее, когда я поближе познакомился с тростниковыми крысами, я узнал, что такой истерикой они встречают все новое, непривычное, вероятно, в надежде испугать или смутить врага. А на самом деле тростниковая крыса — животное отнюдь не из робких и не замедлит впиться своими огромными резцами вам в руку, если вы позволите себе с ней какую-либо вольность. Я оставался на почтительном расстоянии до тех пор, пока не подошли охотники; тут мы общими усилиями извлекли крысу из сети.

Когда ее вытащили и стали сажать в крепкий мешок, крыса вдруг отчаянно подпрыгнула у меня в руках: я сжал ее покрепче, и, к моему удивлению, у меня в пальцах остался большой клок шерсти. Наконец мы надежно засунули траворезку в мешок, а я сел и принялся рассматривать шерсть, которую невольно сорвал с моей упитанной пленницы. Шерсть оказалась длинной и довольно жесткой, похожей на грубую щетину; корни у нее, видно, очень слабые: чуть потянешь — и лезет клочьями. Заново отрастает она очень нескоро, и, так как лысую тростниковую крысу никак нельзя назвать красавицей, обращаться с ней приходится в высшей степени осторожно.

Поймав тростниковую крысу, мы медленно двинулись дальше по долине, время от времени расставляя сети и обшаривая подозрительные кусты и подлесок. Когда стало ясно,

что больше тут нечем поживиться, мы свернули сети и направились к большому холму в полумиле от долины. Холм этот был на редкость правильной формы, и мне на ум тотчас пришел курган, под которым похоронен какой-то исполин, что бродил по этой равнине в давно минувшие времена: на самом верху возвышалась гряда каменных глыб, каждая величиной с дом — казалось, будто здесь воздвигнут памятник. В узких расщелинах и просветах между глыбами росли чахлые деревца, стволы их были изогнуты и скручены всеми ветрами, но на каждом светилась гроздь ярко-золотистых плодов. В высокой траве у подножий деревьев виднелись фиолетовые и желтые орхидеи, а местами эти огромные камни покрывал толстым ковром какой-то густо разросшийся вьюнок, с его стеблей свисали колокольчики цвета слоновой кости. Эти вздыбленные скалы, яркие цветы и причудливо изогнутые деревья являли собой удивительное зрелище на фоне багряно-голубого предвечернего неба.

Мы забрались на холм и уселись на корточках в тени камней среди высокой травы, чтобы перекусить. Кругом сколько хватал глаз простирались горные луга, цветы и трава колыхались на ветру, краски их сверкали и переливались, поминутно изменяясь. Гребни холмов из бледно-золотых постепенно становились белыми, а долины были нежного зеленовато-голубого цвета и местами темнели, когда над ними торжественно проплывало кучевое облако и тянуло за собой лиловую тень. Прямо перед нами в небе отчетливо вырисовывалась цепь тонко очерченных гор, их подножие почти скрывала россыпь огромных валунов вперемежку с малорослыми деревьями. Горы плавно круглились, они были на удивление правильной формы. Их покрывала трава самых разнообразных оттенков зеленого, золотого, пурпурного и белого цветов, и казалось — это накатывается огромная океанская волна: она вздымается над щедешной преградой из камней и кустов и вот-вот через нее перехлестнет. Высоты эти были необыкновенно покойны и тихи, тишину нарушал, кажется, один лишь ветер

— он хлопотливо метался во все стороны, заставляя каждую былинку петь свою собственную песню. Ветер расчесывал траву, и она мягко шелестела, он протискивался меж камней, забирался в трещины и расселины гор над нами, и оттуда доносилось что-то вроде жалобного уханья совы и внезапных раскатов хохота, ветер гнул и скручивал упрямые крепкие деревца, они трещали и стонали, а листья трепетали и мурлыкали, как котята. И все же эти невнятные звуки не нарушали, а скорее подчеркивали тишину лугов.

Вдруг тишина раскололась — из-за тесной группы скал донесся ужасающий рев. Я с трудом пробрался туда и увидел: у подножия каменной глыбы сбились в кучу охотники и собаки. Трое охотников о чем-то отчаянно спорили, а четвертый выл и приплясывал от боли; из раны у него на руке хлестала кровь. Взволнованные собаки прыгали вокруг и неистово лаяли.

— Что тут у вас за суматоха? — спросил я.

Все четверо обернулись ко мне и принялись каждый на свой лад рассказывать, в чем дело; они кричали все громче, стараясь перекричать друг друга.

— Зачем вы так кричите? Как же мне вас понять, если вы говорите все сразу, как женщины? — сказал я.

Добившись таким образом тишины, я указал на окровавленного охотника.

— Как ты получил эту рану, друг мой?

— Маса, это меня добыча укусила.

— Добыча? Какая добыча?

— Э, маса, я не знаю. Уж очень она сильно кусать, сэр.

Я осмотрел его руку и убедился, что из ладони словно аккуратно вырезан кусок величиной с шиллинговую монету. Я оказал охотнику простейшую первую помощь и стал расспрашивать, что за животное его укусило.

— Откуда пришла эта добыча?

— Вон из та дырка, сэр, — ответил раненый и указал на глубокую щель у подножия высокой скалы.

— А ты не знаешь, как называется эта добыча?

— Нет, сэр, — огорченно сказал раненый. — Я ее не видеть. Я приходиться сюда на это место и увидеть дырка. Я и подумать, там, в такой дырка, бывать добыча, и сунул рука. Он меня и укусить.

Я обернулся к остальным охотникам.

— Вот! — сказал я. — Этот человек не знает страха. Он не заглянул сначала в нору. Взял да и сунул туда руку, добыча его и укусила.

Охотники захихикали. Я опять повернулся к раненому.

— Стало быть, ты сунул руку в нору, не так ли? Но ведь в таких местах можно наткнуться и на змею, верно? А если тебя укусит змея, что ты будешь делать?

— Я не знаю, маса, — сказал он и ухмыльнулся.

— Друг мой, мне совсем не нужен мертвый охотник, так что ты уж больше не делай таких глупостей, понял?

— Понял, сэр.

— Вот и хорошо. Теперь давай поглядим, что за опасная добыча тебя укусила.

Я достал из мешка факел, согнулся в три погибели и заглянул в нору. В свете факела сначала блеснули глазки, налитые кровью, потом возникла острая, рыжеватая мордочка; зверек злобно, пронзительно взвизгнул и исчез во мраке и глубине норы.

— Ага! — воскликнул один из охотников, услышав визг. — Это буш дог. Очень сильно свирепый добыча.

К сожалению, названием «буш дог» — лесная собака — в этих краях обозначают без разбору самых разных мелких млекопитающих, из них лишь немногие хотя бы отдаленно сродни собакам, и потому разъяснение охотника ничуть меня не просветило — я так и не понял, что это был за зверь. Мы немного посоветовались и решили, что есть только один верный способ заставить зверька выйти из норы: надо развести костер у самого входа и нагнать туда дыму, размахивая пучком листьев. Так мы и сделали, но сначала развесили над входом небольшую сеть. Не успел первый клуб дыма заполнить в каменную щель, как зверек выскочил оттуда прямо в сеть и с такой силой, что сеть сорвалась со своих креплений и зверек вместе с ней покатился вниз по склону в высокую траву. Собаки с оглушительным лаем кинулись вдогонку, а следом помчались и мы, выкрикивая всяческие угрозы собакам, чтобы они не смели трогать беглеца. Однако очень скоро выяснилось, что зверек отлично мог сам постоять за себя и вовсе не нуждался в нашей помощи.

Он стряхнул с себя сеть, встал на задние лапы, и тут мы разобрали, что перед нами карликовая мангуста, изящный рыжеватый зверек величиной с горностая. Она так и осталась стоять, слегка покачиваясь из стороны в сторону, широко раскрыв рот, и издавала такие громкие, пронзительные крики. каких я в жизни не слышал от такого маленького зверька. Собаки разом остановились и в оцепенении глядели на мангусту, а та все раскачивалась перед ними и визжала. Один пес, посмелее остальных, осторожно двинулся вперед и хотел обнюхать это странное существо, но мангуста, видно, только того и ждала: она упала плашмя в траву, ползком скользнула вперед, извиваясь как змея, потом исчезла среди высоких стеблей — и вдруг опять появилась прямо под ногами у всей своры. Тут она завертелась волчком, оглушая нас неумолчным визгом, и при этом впивалась зубами в каждую ногу или лапу, что попадалась ей на глаза. Собаки всячески пытались увернуться от ее острых зубов, но это было нелегко, ведь в траве мангуста подбиралась к ним незаметно, и собакам оставалось только подпрыгивать высоко в воздух. И вдруг мужество им изменило, они все разом повернулись и позорно кинулись удирать вверх по холму, а мангуста так и осталась стоять на задних лапах одна на поле брани; она уже слегка задыхалась, но все еще выкрикивала язвительные насмешки вслед удалявшимся хвостам.

Так свора была побеждена, теперь нам предстояло самим постараться взять в плен этого маленького, но свирепого противника. Это удалось много легче, чем я предполагал: я привлек внимание мангусты, замахав у нее перед носом брезентовым мешком, она набросилась на него, как на врага, и принялась с ожесточением его кусать, а тем временем

один из охотников подкрался сзади и набросил на нее сеть. Пока мы выпутывали мангусту из сети и водворяли в мешок, она совершенно оглушила нас своими яростными воплями и не переставала визжать весь обратный путь домой; по счастью, толстый брезент хоть немного приглушал этот визг. Мангуста умолкла, только когда, уже в Бафуте, я вытряхнул ее из мешка в большую клетку и бросил туда окровавленную голову цыпленка. Пленница тотчас же с философской рассудительностью принялась за еду и вскоре съела все до крошки. После этого мангуста хранила молчание и только если на глаза ей попадался кто-либо из нас, бросалась к прутьям клетки и снова начинала отчаянно браниться. Нам это под конец до того надоело, что мне пришлось завесить клетку спереди куском мешковины — пускай посидит так, пока не привыкнет к человеческому обществу. Три дня спустя я услышал с дороги знакомые крики и задолго до того, как вдали показался охотник, понял, что мне несут еще одну карликовую мангусту. Я очень обрадовался, что это была молодая самка, и посадил ее в ту же клетку, где сидела первая мангуста, и напрасно: они немедленно завизжали в два голоса, стараясь перекричать друг друга, и этот дуэт был примерно столь же приятен и успокоителен, как скрип ножа по тарелке, да еще усиленный в несколько тысяч раз.

Возвратясь в Бафут после моего первого дня охоты с Гончими, я получил послание от Фона: он приглашал меня к себе выпить и рассказать все новости об охоте. Я пообедал, переоделся и зашагал через просторный двор на маленькую виллу Фона. Он восседал на веранде, разглядывая на свет бутылку джина: много ли в ней еще осталось.

— А, друг мой, — сказал он. — Ты приходил? Ты хорошо поохотиться?

— Да, — ответил я, усаживаясь на предложенный стул. — Охотники Бафута умеют ловить славную добычу. Мы поймали целых три.

— Отлично, отлично, — сказал Фон, налил полный стакан джина и подал мне. — Ты будешь пожить здесь мало время и поймать много-много добыча. Я рассказать все мои люди.

— Да, хорошо. Я думаю, люди Бафута умеют ловить добычу лучше всех в Камеруне.

— Да, верно, верно, — с удовольствием подтвердил фон. — Ты говорить верно, друг мой.

Мы подняли стаканы, чокнулись, широко улыбнулись друг другу и выпили. Фон опять наполнил стаканы, потом послал кого-то из своей многочисленной свиты за новой бутылкой. Когда мы добрались почти до дна второй бутылки, оба мы порядком разнежились и Фон повернулся ко мне:

— Ты любить музыка? — осведомился он.

— Да, очень, — чистосердечно ответил я, потому что слышал, будто у Фона есть весьма недурной оркестр.

— Хорошо! Тогда будет музыка, — сказал он и отрывисто что-то приказал одному из слуг.

Вскоре во дворе под верандой появился оркестр. К моему удивлению, он состоял примерно из двух десятков жен Фона, почти совершенно голых, если не считать узеньких набедренных повязок. Жены были вооружены множеством самых разных барабанов, начиная от крохотного, величиной с маленькую кастрюльку, и до огромных, пузатых инструментов, такие одному человеку и не поднять; были там еще и деревянные, и бамбуковые флейты с необыкновенно нежными голосами, и большие бамбуковые коробки, наполненные сушеными зернами маиса, — когда их трясли, слышался какой-то не то шелест, не то треск. Но самым удивительным инструментом в этом оркестре мне показалась деревянная труба футов четырех длиной. Ее держали стоймя, уперев одним концом в землю, и дули в нее особенным образом, извлекая густой, низкий, дрожащий звук, который немало вас изумлял — никто бы не подумал, что подобное может донестись откуда-то еще, кроме как из уборной, да и то лишь если там редкостная акустика.

Оркестр начал играть, и вскоре множество домочадцев Фона тут же, во дворе, пустились в пляс. Это было нечто среднее между бальным и народным танцем. Пары, обхватив друг друга, медленно кружились, их ноги переступали крошечными шажками, выделявая при этом довольно сложные па, а тела раскачивались и извивались в таких

движениях, какие не счел бы позволительными ни один дансинг. Время от времени какая-нибудь пара разделялась, и каждый кружился и раскачивался сам по себе, весь во власти музыки, выделявая свои собственные па. Флейты чирикали и попискивали, барабаны стучали и грохотали, погремушки с маисовыми зернами трещали и шелестели мерно, однообразно, подобно волнам, что ворошат мелкие камешки, и за всем этим хаосом звуков неумолчно, глухо гудела огромная труба, и каждые несколько секунд так размеренно, точно это билось огромное сердце, гудение обрывалось громким ревом.

— Тебе нравится мой музыка? — закричал Фон.

— Да, очень хорошая, — проревел я в ответ.

— А в твоей страна есть такой музыка?

— Нет, — сказал я с искренним сожалением, — у нас такой нет.

Фон еще раз наполнил мой стакан.

— Скоро, когда мой народ принести трава, у нас будет много музыка, много танцы, а? У нас будет веселый время, мы все будем сильно веселый, да?

— Да, конечно. Мы отлично повеселимся.

А оркестр под верандой все играл, ритмичный бой и рокот барабанов, казалось, взмывали в темное небо и даже звезды начинали подрагивать и приплясывать под их четкий ритм.

ГЛАВА III. Гудящая белка

Когда я охотился в Бафуте, мне особенно хотелось заполучить двух представителей фауны травянистых степей: скалистого дамана и так называемую белку Стейнджера. Но водятся они в совсем несхожих местностях, и два похода за ними запомнились мне, кажется, живей и ярче всех других эпизодов моей охоты на равнинах Камеруна.

Сначала мы отправились за белкой. Эта охота была примечательна тем, что мне удалось составить план похода заранее и осуществить его вполне успешно, не пришлось в последнюю минуту наткнуться на какие-то непредвиденные помехи. Белка Стейнджера — довольно распространенное животное в Камеруне, но прежде я охотился за ней в глухих девственных лесах в бассейне реки Мамфе. В такой местности зверек почти все время сидит на верхних ветках самых высоких деревьев (и питается всевозможными плодами, в изобилии растущими на этих солнечных высотах), а на землю и вообще вниз спускается очень редко. Поэтому поймать там белку почти невозможно. Однако уже потом я узнал, что на равнинах белки частенько посещают небольшие рощицы по берегам реки и проводят довольно много времени на земле, рыская в траве в поисках пищи. И я решил, что здесь будет легче ее поймать. Когда я показал изображение этой белки Гончим Бафута, они тотчас ее узнали и громогласно объявили, что знают, где ее искать. Я основательно их расспросил и убедился, что они и в самом деле хорошо знают повадки этого зверька, так как нередко на него охотились.

Оказалось, белки Стейнджера живут в небольшом горном лесу, но на рассвете или под вечер спускаются с деревьев и, набравшись храбрости, отправляются в луга кормиться. Вот тогда-то и надо их ловить, сказали Гончие Бафута.

— А что же эти белки делают ночью? — спросил я.

— Ох, маса, ночью его не поймать! — был ответ. — Этот добыча, он спать на большой дерево, высоко, человек туда не залезть. А вот когда вечер или рано-рано утро, тогда мы их поймать.

— Хорошо. — сказал я. — Будем ловить ее рано-рано утром.

Мы вышли из Бафута в час ночи и после долгого, нудного перехода по холмам, по долинам и лугам, за час до рассвета пришли наконец на место. Это было небольшое плоскогорье, лежащее на полпути к вершине горы, на крутом ее склоне. Местность тут была сравнительно ровная, ее, журча, пересекала довольно широкая мелкая речушка, обрамленная по берегам узкими рамками густого леса. Мы съезжились у подветренной стороны большой

скалы и начали вглядываться в туман, утирая лица, мокрые от росы; там мы осмотрелись и составили план охоты. Решено было расставить две-три сети в высокой траве, ярдах в пятистах от кромки деревьев. И делать это следовало без промедления, пока не рассвело, не то белки нас заметят.

Расставлять сети в высокой, по пояс, траве, когда она насквозь пропитана росой, — не слишком приятное занятие, и мы были счастливы, когда закрепили наконец последнюю. Потом осторожно подобралась к лесу и заползли в высокий кустарник, подальше от посторонних взоров. Здесь мы уселись на корточки, стараясь не стучать зубами от холода: нельзя было ни курить, ни разговаривать, ни хотя бы пошевелиться, и мы молча смотрели, как бледнеет небо на востоке — ночная темнота словно по каплям вытекала из него. Постепенно небо стало бледно-серым, с каким-то жемчужным отливом, потом порозовело — и вдруг вошло солнце, небо налилось ослепительной лазурью, яркой, точно перо зимородка. В этом чистом и нежном свете стали видны горы вокруг, окутанные низко стелющимся туманом: солнце поднималось все выше — и туман заколыхался, начал сползать по откосам гор, стекая в долины. Всего лишь миг назад равнины перед нами спали мирным сном под покровом тумана, и вот горы точно пробуждаются ото сна, зевают и потягиваются под белым своим покрывалом, там сбрасывают его, здесь укутываются плотнее и наконец, сонные, росистые, поднимаются из глубин своей белой постели. Позднее я много раз смотрел, как просыпаются горы, и никогда не мог наглядеться досыта. Если вспомнить, что одно и то же происходит каждое утро с тех незапамятных времен, когда древние горы эти возникли на Земле, только диву даешься, каким новым и свежим кажется всякий раз это зрелище! Оно никогда не бывает скучным, обыденным; в нем всегда новизна. Иногда туман, поднимаясь, свивается причудливыми клубами, и возникают сказочные звери: чудовищные ящеры, фениксы, крылатые драконы, молочно-белые единороги; а порой пряди тумана вытягиваются и колеблются, точно странные ползучие стебли водорослей, встают, как деревья или огромные взъерошенные кусты, сплошь в белых цветах; порой подует ветерок и придаст туману уж совсем поразительные формы, вычертит строгие, сложные геометрические фигуры. И все время он скользит, перемещается, а под ним дразняще мелькают горы, поблескивают богатой гаммой мягких красок. таких нежных, воздушных и неуловимых, что описать их просто не хватает слов.

«Да, — подумал я, сидя на корточках под кустом и глядя сквозь ветви как пробуждаются горы, — стоило так устать, продрогнуть и проголодаться, стоило промокнуть до нитки от росы и маяться, потому что до судорог свело руки и ноги, ради того, чтобы все это увидеть». И тут мои мысли прервало громкое, воинственное «чак! чак!» Оно раздавалось в ветвях деревьев над нами; один из охотников схватил меня за руку, глаза у него блестели. Он осторожно наклонился и прошептал мне в самое ухо:

— Маса, здесь тот самый добыча, какой маса хочет. Мы сидеть тихо-тихо, и он через мало время сойти вниз на землю.

Я отер с лица росу и начал вглядываться в гущу трав, где мы расставили сети. Вскоре откуда-то из глубины леса донеслось еще «чак! чак!». Это проснулись и другие белки и подозрительным взглядом встречали наступающий день. Мы ждали, как нам показалось, ужасно долго, и вдруг я увидел, что на лугу между нами и сетями что-то движется — что-то очень странное. На первый взгляд это можно было принять за овальный черно-белый полосатый мяч, который опять и опять подскакивал над высокой травой. В туманной утренней дымке я никак не мог понять, что же это такое, и молча ткнул пальцем, указывая охотникам на движущийся мяч.

— Тот самый добыча, маса, — сказал кто-то.

— Спускался на землю, уже спускался! — ликуя, подхватил другой.

— А что же это такое? — шепотом спросил я: странный шарообразный предмет никак не напоминал строение тела белки.

— А вот же, это хвост, сэр, — объяснил один из охотников и, чтобы окончательно рассеять мои сомнения, прибавил: — У него сзади растет.

Любой фокус, если его объяснить, тотчас становится очевидным. Теперь я ясно видел, что это черно-белое, полосатое — и в самом деле беличий хвост, и сам себе подивился: с чего это я взял, будто он похож на мяч? Вскоре к этому хвосту в траве присоединились и другие, а когда поднялся и рассеялся туман, мы увидели и самих белок.

Их было восемь, они скачками перебирались из леса на луг. Это были крупные, довольно плотные и головастые зверьки, но самой крупной, самой заметной частью тела у них были хвосты. Белки осторожно перепрыгивали с кочки на кочку: иногда они останавливались, присаживались на задние лапки и старательно нюхали воздух — чем пахнет там, в той стороне, куда они направляются. Потом опять опускались на все четыре лапки и прыгали еще несколько ярдов, помахивая хвостами. А то вдруг сядут и на несколько секунд замрут, аккуратно заложив хвост на спину, так что пушистый кончик его свисает книзу на лоб и чуть ли не закрывает мордочку. Те, что уже выскочили на луг, молчали, но зато с деревьев позади нас порой снова доносилось подозрительное «чак!» — иные зверьки еще не собрались с духом спуститься. Я решил, что для охоты вполне хватит и восьми — которую-нибудь да поймаем, — и подал знак охотникам: мы поднялись из засады, растянулись в цепочку между деревьями, и охотники остановились, ожидая сигнала к наступлению.

Белки ушли уже ярдов за сто пятьдесят от опушки леса. Достаточно, решил я, помахал рукой, и мы вышли из нашего укрытия за деревьями в высокую траву. Белки, оставшиеся в лесу, громко, тревожно закричали, а те, что были на лугу, поднялись на задние лапки — поглядеть, что происходит. Увидели нас и замерли: тут мы медленно двинулись вперед, и они сразу запрыгали в траве, все дальше и дальше от деревьев. По-моему, они толком не поняли, что мы такое, — ведь продвигались мы очень осторожно, старались не делать ни одного лишнего движения. Белки чуяли опасность, но не знали, насколько она велика, поэтому они отбегали на несколько ярдов, потом останавливались, чтобы разглядеть нас хорошенько, и шумно втягивали ноздрями воздух. Вот тут-то и была самая уязвимая часть нашего плана: белки еще не вошли в полукруг сетей, и если бы они взяли вправо или влево, то с легкостью удрали бы от нас в луга. Мы осторожно надвигались на них, кругом царил тишина, слышался только шелест влажной травы у нас пол ногами да сзади смутно доносились тревожные крики белок, что остались у нас за спиной.

Внезапно одна из белок, видно посмышленной остальных, сообразила, что происходит. Она не могла видеть сетей впереди — они были скрыты в высокой траве и основательно замаскированы, — но поняла, что наше приближение оттесняет ее с братьями все дальше и дальше от леса, от высоких деревьев, где они могли бы укрыться. Белка издала громкий тревожный крик и кинулась прочь, а длинный хвост словно струился за ней в траве; потом она вдруг вильнула влево и поскакала по траве в сторону от сетей. Она хотела только одного: обойти нас и добраться до деревьев. Остальные белки сразу же сели столбиками и с тревогой следили за ней. Тут я сообразил, что надо немедленно что-то предпринять, иначе все они соберутся с духом и последуют примеру первой. По ранее задуманному плану мы собрались выждать, пока зверьки не углубятся в полукруг сетей, и только тогда кинуться вперед и напугать их, чтобы они очертя голову бросились прямо в сети. Но теперь стало ясно, что надо попытаться счастья и вспугнуть их сейчас же. Я поднял руку, по этому знаку все охотники (и я тоже) с криком и гиканьем рванулись вперед. Мы размахивали руками и всем своим видом старались нагнать побольше страха. Долго секунды белки оцепенело смотрели на нас, потом бросились наутек.

Четыре последовали примеру подруги — кинулись в сторону под прямым углом и таким образом сумели увернуться и от сетей, и от охотников, но остальные три помчались прямо в ловушку. Мы кинулись за ними и сразу увидели, как впереди задергались сети — значит, белки там застряли! И верно, когда мы подбежали, зверьки уже совсем запутались, они яростно сверкали на нас глазами, оглушительно, угрожающе орала — ничего подобного я в жизни не слыхивал ни от одной белки. Крики эти совсем не походили на их обычное громкое «чак! чак!». Это было грозное предостережение, нечто среднее между храпом и

рычаньем, И все время, пока мы их выпутывали из сетей, они без умолку вопили и яростно вонзали нам в руки крупные оранжевые резцы. Когда мы наконец засунули их в брезентовые мешки, нам пришлось нацепить каждый мешок на конец палки и так нести: белка любого другого вида, когда очутится в темном мешке, лежит смиренно, но эти явно жаждали продолжать борьбу и малейшее прикосновение к мешку встречали яростными попытками укусы и грозными воплями.

Белки в лесу совсем разволновались, меж деревьев эхом отдавалось их неистовое «чак! чак!». Теперь они поняли, какую опасность мы для них представляем, так что не стоило и пытаться поймать еще хоть одну, пришлось довольствоваться теми тремя, которых мы изловили.

Итак, мы свернули сети и другое снаряжение и отправились обратно в Бафут. Там я поместил своих драгоценных белок в три крепкие, выложенные жестью клетки, наполнил кормушки и оставил каждую пленницу в строгом одиночестве — пусть немного придут в себя после такого унижения. Как только мы отошли, белки решились выйти из темноты своих «спален», уничтожили приготовленную для них порцию сочных фруктов, опрокинули блюдца с водой, попробовали на зуб жестяную обивку клеток — нельзя ли ее прогрызть — и, убедившись, что это им не под силу, удалились в «спальни» и уснули. Вблизи они оказались очень красивыми зверьками: брюшко и щеки светло-желтые, спинка красновато-коричневая и большущий хвост в поперечных полосках, точно перевязанный ленточками. Правда, впечатление немного портила чересчур большая голова (есть в ней что-то лошадиное, крохотные, тесно прижатые к черепу ушки и зубы изрядно торчат).

Я где-то читал, что эти белки ранним утром карабкаются на самые верхние ветки деревьев и оглашают лес необычайно сильными и странными криками: это низкое раскатистое гудение, точно замирающий гул гигантского колокола. Мне очень хотелось услышать этот крик, но я не думал, что они станут так кричать в неволе. Однако на другое же утро около половины шестого меня разбудил странный звук. Все пойманные зверьки находились на веранде за моим окном; я сел на кровати и сразу понял, что звук этот идет от клеток, только не мог разобрать, от каких именно. Я надел халат и осторожно выскользнул из комнаты. Тут, в туманном предутреннем свете, продрогший и еще не совсем проснувшийся, я терпеливо ждал, не повторится ли удивительный звук. Через несколько минут он повторился, и теперь стало ясно — он идет от клеток с белками. Описать его необыкновенно трудно: он начинался подобно стону, постепенно набирал силу, и в нем появлялась какая-то вибрирующая дрожь — примерно так гудят и вибрируют телеграфные провода... Он колебался, точно сейчас заглохнет, потом, как будто кто-то совсем легонько ударял в гонг, резко усиливался и снова понемногу замирал. Видно, белки не очень старались, в лесу они вложили бы в свое «пение» побольше души — там, в предрасветном тумане, меж ветвями деревьев, оно, уж наверно, звучит таинственно и чарующе.

В тот вечер, как обычно, ко мне явился Фон; стал расспрашивать, успешно ли мы нынче охотились, и преподнес мне калебас свежего пальмового вина. Ужасно гордый, я показал ему белок и подробно рассказал, как мы их ловили. Фон непременно захотел узнать, в каком именно месте их поймали, но я плохо разбирался в окрестностях Бафута, и мне пришлось призвать на помощь одного из охотников, который в это время развлекался на кухне. Тот пришел и остановился перед Фоном: на вопросы он отвечал, прикрыв рот сложенными лодочкой руками. Времени на объяснения понадобилось немало: там, где мы охотились, нет ни одной деревни, вообще нет никакого жилья, и охотник мог сослаться только на такие приметы, как формы скал, деревья, необычные очертания холмов. Наконец Фон оживленно закивал и на несколько минут погрузился в раздумье. А потом стал быстро говорить что-то охотнику, широко размахивая своими длинными руками, охотник же кивал и низко кланялся. Затем Фон с милостивой улыбкой повернулся ко мне и небрежно, почти рассеянно протянул мне свой пустой стакан.

— Я велеть этот человек. — объяснил он мне, словно бы равнодушным взглядом следя, как я наливаю ему вино, — чтобы он отвел тебя в один особенный место в горы. Там ты

найти особенный добыча.

— Какая же там добыча? — спросил я.

— Добыча, — неопределенно повторил Фон и повел в воздухе уже наполовину опустевшим стаканом, — Особенный добыча. У тебя такой еще не был.

— А это не опасная добыча? — спросил я.

Фон поставил стакан на стол и показал ее размер огромными руками.

— Вон такой большой, — сказал он. — Не так сильно опасный, но много кусаться. Он живет на тот большой-большой скала, он ходить под этот скала. Бывает, кричит много, вот так: «уииииииии!».

Я сидел и терялся в догадках

— что бы это могло быть, а Фон с надеждой смотрел мне в лицо.

— Совсем похож на траворезка, только хвост нет, — сказал он наконец, пытаюсь мне помочь.

Меня вдруг осенило, я пошел за нужной книгой, отыскал там картинку и показал Фону.

— Это она? — спросил я.

— А! Да, да, — обрадовался Фон и погладил своими длинными пальцами изображение скалистого дамана. — Тот самый добыча. Как ты его называть?

— Скалистый даман.

— Скалистый даман?

— Да. А как вы называете его здесь, в Бафуте?

— Здесь мы звать его н'иир.

Я записал это слово в список местных названий зверей, который составлял, и вновь наполнил стакан Фона. А тот все еще как зачарованный любовался изображением дамана и обводил его тонким пальцем.

— Ф-фа! — мечтательно вздохнул он наконец. — Очень вкусный жареное этот добыча. Мы его готовить со сладкий картофель...

Голос его замер, и, охваченный воспоминаниями, он облизнул губы.

Охотник уставился на меня и переступил с ноги на ногу — он явно хотел что-то сказать.

— Ты что хотел?

— Маса хочет идти тот место, про который Фон говорить?

— Да. Мы пойдем завтра же утром.

— Да, сэр. Чтобы поймать этот добыча, надо много-много люди, маса. Этот добыча, он сильно быстро бегать.

— Ну что ж, пойдти скажи всем, что мы завтра идем на охоту.

— Да, сэр.

Но он все стоял и переминался с ноги на ногу.

— Ну что тебе?

— Маса, я еще нужный?

— Нет, мой друг. Иди назад в кухню и допивай свое вино.

— Спасибо сэр, — сказал он, широко улыбнулся и исчез в полумраке веранды.

Скоро Фон собрался уходить, и я проводил его до дороги. В конце двора мы остановились, и он улыбнулся мне с высоты своего огромного роста.

— Я уже старый, — сказал он. — Я очень много уставать. Если я не был старый, я пойти с тобой на охота завтра.

— Неправда, друг мой. Ты совсем не старый. Ты очень сильный. У тебя еще много силы, больше, чем у твоих лучших охотников.

Он усмехнулся, потом вздохнул.

— Нет, мой друг, ты сам говорить неправда. Мой время прошло. Я очень много уставать. Я иметь много жены, от них очень много уставать. Всегда дело, всегда забота с один человек, с другой человек, и я очень много уставать. Бафут — большой место, много люди. Когда много люди — много забота.

— Что верно, то верно. Я знаю, хлопот у тебя много.

— Правда, — сказал он, и тут глаза его озорно блеснули. — Бывает, я иметь хлопоты с полицейский чиновник, вот тогда я совсем-совсем много уставать.

Он пожал мне руку и, посмеиваясь, двинулся через двор к себе.

На следующее утро мы отправились на охоту за дама-ном — я, четверо Гончих Бафута и пятеро домочадцев Фона. Первые две-три мили наш путь лежал через возделанные поля и мелкие фермы. Пологие склоны холмов были все перекопаны, жирная красная земля сверкала в лучах утреннего солнца. Кое-где поля были уже засеяны и посевы созрели; мы видели пушистые кусты маниоки, ряды маиса, где каждый золотистый початок машет на ветру светлой кисточкой тончайших шелковых нитей. На иных полях работали женщины, обнаженные до пояса, они разрыхляли землю широкими мотыгами с короткой ручкой, У некоторых на спине привязаны были крохотные младенцы, но они, казалось, и не замечали этого привычного груза: так горбун со временем перестает замечать свой горб. Те, кто постарше, курили длинные черные трубки, и, когда они наклонялись, густые клубы серого едкого дыма обдавали им лицо. Самая трудная работа выпала здесь на долю молодых; они вскидывали неуклюжую, тяжелую мотыгу высоко над головой и с размаху вонзали ее в землю; блестящие от пота, гибкие тела мерно раскачивались в лучах солнца. Всякий раз, как мотыга входила в красную землю, женщины громко ухали от натуги.

Мы шли через поля между женщинами, и они высокими, пронзительными голосами окликали нас, шутили, громко хохотали, ни на миг не прекращая работы и не сбиваясь с ритма. Разговор звучал очень странно, так как то и дело прерывался громким уханьем.

— Доброе утро, маса... ух!.. куда собратся?.. ух!

— Маса собратся на охота... ух!.. ведь правда, маса? ух!..

— Маса поймать много добыча... ух!.. маса иметь много сила... ух!..

— Иди быстро, маса... ух!.. поймать добыча много!.. ух!..

И еще долго, когда мы давно миновали поля и уже взбирались на золотистые склоны холмов, до нас доносились их болтовня, смех и мерные удары мотыг, вгрызающихся в землю.

Наконец мы добрались до гребня самой высокой гряды холмов, окружающих Бафут, и тут охотники показали мне место предстоящей охоты: горная цепь, лиловая, затянутая дымкой, возникла где-то в недостижимой дали. Домочадцы Фона заохали, застонали в изумлении и отчаянии — неужели я заставляю их идти в такую даль? А Джейкоб, повар, напрямик заявил, что он все равно не сможет туда пойти, он, к сожалению, занозил ногу. При ближайшем рассмотрении оказалось, что никакой занозы у него нет, а просто в башмак попал маленький камешек. Когда это обнаружилось и камешек из башмака выбросили, повар сильно расстроился и помрачнел; он тащился позади всех и свирепо бормотал что-то себе под нос. К моему удивлению, расстояние оказалось обманчивым, не прошло и трех часов, как мы уже шагали по длинной, извилистой долине, в конце которой поднималась стена сверкающего золота и зелени — это и была наша цель. Пока мы, по пояс в высокой траве, с трудом взбирались вверх по склону, охотники рассказали мне свой план действий. Я понял, что нам предстоит обойти гладкий выступ горной цепи — там, между этим выступом и следующим, тянется глубокая долина, одним своим концом она врезается далеко, в самое сердце гор. Долину эту обрамляют почти отвесные скалы, а у их подножия среди камней живет даман.

Мы с трудом обогнули огромный острый выступ горы, и тут перед нами открылась долина — тихая, отрешенная, наполненная сверкающим солнечным светом, озарявшим суровые отроги по обе ее стороны, расцветенные розовым, разукрашенные золотыми солнечными бликами и мягкими голубыми тенями. У подножия скал громоздилось наследие несчетных камнепадов и горных обвалов — хаос глыб всех форм и размеров: иные раскатились по неровному руслу долины, иные громоздятся друг на друга, будто из них на скорую руку возведены высоченные дымовые трубы — вот-вот обвалятся! На этих утесах и вокруг них стелется, колышется на ветру зеленый ковер: кусты, высокие травы, согбенные,

скрюченные. похожие на хитрых колдунов деревья, мелкие орхидеи, высокие лилии и густая, путаная сеть вьюнков с желтыми, кремовыми и розовыми цветами. На склонах утесов, обращенных к нам, разбросано множество пещер: их отверстия таинственно темнеют, порой узкие — просто щели в камне, порой распахнутые широко, словно двери соборов. По самой середине долины бежит шумливый ручеек — этот бойкий малыш то весело юркнет меж камней, то вновь выскочит оттуда и торопливо скачет водопадами вниз по склону с одного уступа на другой.

В устье долины мы остановились отдохнуть и покурить, и я оглядел в бинокль скалы впереди — нет ли там признаков жизни? Но долина казалось мертвой, пустынной; никаких звуков, только самодовольное, потешное журчание крохотного ручейка да ветер вкрадчиво посвистывает и перешептывается с травой. В вышине появился небольшой сокол, минуту повисел недвижно в нежно-голубом небе и скрылся из виду за иззубренным краем утеса. Джейкоб стоял и разглядывал долину. на его толстой физиономии появилось мрачное выражение.

— Что такое, Джейкоб? — невинно спросил я. — Ты уже заметил добычу?

— Нет, сэр, — ответил тот и сердито уставился в землю.

— Тебе тут не нравится?

— Да, сэр, не нравится.

— Что ж так?

— Это плохой место, сэр.

— Почему же плохое?

— Э! Бывает, такой место заколдованный, худо будет, маса.

Я оглянулся на Гончих Бафута, которые лежали в траве.

— Здесь место заколдованное? Вам тут было худо? — спросил я их.

— Нет, сэр, никогда, — дружно отозвались они.

— Вот видишь, — сказал я Джейкобу. — Нет тут никакого колдовства, и бояться нечего, понял?

— Да, сэр, — ответил Джейкоб, ничуть не убежденный.

— А если ты поймашь для меня эту добычу, я тебе хорошо заплачу, — продолжал я. Джейкоб заметно оживился.

— Маса давать мне такой же плата, как охотникам? — спросил он с надеждой.

— Да, конечно.

Джейкоб вздохнул и задумчиво поскреб себе живот.

— Что, все еще боишься, что здесь тебя заколдуют?

— Э! — возразил он, пожав плечами. — Бывает, я тоже ошибся.

— А, Джейкоб! Если маса давать тебе плата, ты убить свой родной мамми.

— со смехом сказал один из Гончих: пристрастие Джейкоба к деньгам было хорошо известно всему Бафуту.

— Ха, — сердито воскликнул Джейкоб. — А ты не любить деньги, нет? Зачем ты приходил на охота с маса, если ты не любить деньги, а?

— Это мой работа, — сказал охотник и пояснил, чтобы не осталось никаких сомнений: — Я — Гончая Бафута.

Джейкоб еще не успел придумать достойный ответ, как другой охотник поднял руку.

— Слушай, маса! — взволнованно сказал он.

Все замолчали, и тут до нас долетел из долины странный крик: сперва раз за разом, с короткими промежутками раздавался переливчатый свист... и вдруг он перешел в протяжный вой, который зловещим эхом отдавался в каменистых стенах долины.

— Это н'иир, маса, — зашептали охотники. — Он воет вон там, на большой утес.

Я навел бинокль на беспорядочное нагромождение камней, куда указывали охотники, но не сразу заметил дамана. Он сидел на скалистом выступе и надменно оглядывал долину. Величиной он был с большого кролика, но лапы короткие, толстые, морда притупленная, точно у льва. Уши маленькие, аккуратные, хвоста как будто вовсе нет. Минуту-другую я его

разглядывал, потом он повернулся на узком уступе, взбежал на самый верх скалы, там постоял мгновение, определяя расстояние, легко перепрыгнул на соседнюю грудку камней и исчез в зарослях вьюнка — за ними, верно, скрывалась какая-то нора. Я опустил бинокль и взглянул на охотников.

— Ну, — спросил я. — Как же нам его поймать?

Они быстро обменялись мнениями на своем языке, потом один повернулся ко мне.

— Маса, этот добыча, он очень много умный, — сказал охотник, скривив лицо, и почесал в затылке. — Сеть мы его никак не поймать, он все равно убежать мимо люди.

— Как же нам поступить, друг мой?

— Мы найти нору в гора, сэ, и мы сделать костер и много дым: мы положить сеть перед нора, и как он побежать, мы его хватай.

— Хорошо, — согласился я. — Пошли, пора.

Мы двинулись по долине. Впереди шел Джейкоб, теперь лицо его выражало мрачную решимость. Мы пробрались сквозь густые дебри низкого кустарника и наконец достигли первой груды камней, нагроможденных друг на друга так несуразно, что, казалось, они того и гляди рухнут. Здесь мы рассыпались во все стороны, как терьеры, и чуть не ползком двинулись в обход скалы, заглядывая в каждую щель — нет ли там кого-нибудь. Как ни странно, первому повезло Джейкобу; он высунул голову из чащи кустов и позвал меня, его потное лицо так и сияло.

— Маса, я найти нора. И добыча сидеть там, внутри, — радостно объявил он.

Мы столпились вокруг норы и прислушались. Да, конечно, там есть какое-то живое существо: до нас доносились слабые шорохи, словно зверек царапал лапами землю. Мы поспешно разложили костер из сухой травы у самого входа в нору и, когда он как следует разгорелся, покрыли огонь зелеными листьями: мгновенно к небу поднялся столб густого, едкого дыма. Мы развесили над входом в нору сеть и большими пучками листьев погнали дым вглубь. Мы усердно махали листьями, нагоняя дым в темную щель; он, клубясь, уходил в глубину, и вдруг все понеслось с головокружительной быстротой. Из норы вылетели два детеныша дамана, каждый величиной с морскую свинку, с разлету ударились в сеть с такой силой, что сорвали ее с креплений и, все больше в ней запутываясь, покатались в кусты. Следом выскочила мать, довольно крупная и дородная зверюга, вне себя от ярости. Она выбежала из норы и тотчас бросилась на ближайшего к ней человека — это оказался один из охотников: даман мчался с такой быстротой, что охотник не успел уклониться: самка вцепилась зубами ему в ногу и повисла на ней, как бульдог, издавая носом громкое, устрашающее «уииии!» Охотник опрокинулся на плотный ковер вьюнка и лежал там, отчаянно брыкаясь и воя от боли.

Остальные Гончие Бафута тем временем старались выпутать из сети детенышей, но это оказалось не так-то просто. Домочадцы Фона разбежались сразу же, едва на сцене появилась разгневанная мамаша, так что выручать охотника, который дергался в кустах и орал благим матом, пришлось нам с Джейкобом. Однако я еще не успел ничего придумать, как вдруг Джейкоб словно очнулся от спячки. На сей раз события не застали его врасплох. Боюсь, правда, что его поступок был продиктован вовсе не сочувствием к страданиям товарища; должно быть, он понял: надо поскорей что-то делать, не то зверек убежит и тогда ему, Джейкобу, не видать обещанных денег, как своих ушей. Джейкоб схватил брезентовый мешок побольше и метнулся мимо меня — я никак не ожидал от него, всегда сонного и медлительного, такой прыти. Не успел я и глазом моргнуть, как он уже схватил ногу злосчастного охотника и запихнул ее в мешок вместе с висящим на ней даманом. Потом туго затянул отверстие мешка и с довольной улыбкой обернулся ко мне.

— Маса! — завопил он, стараясь перекричать охотника, который орал теперь уже не только от боли, но и от негодования. — Я его поймать!

Однако он слишком рано торжествовал победу: не в силах больше терпеть, охотник поднялся из зарослей вьюнка и с маху ударил Джейкоба по курчавому затылку. Джейкоб взревел от боли и обиды и покатился вниз по склону, а охотник тем временем встал на ноги,

отчаянно пытаюсь освободиться от дамана и от мешка. Как ни прискорбно, должен признаться, что тут я просто опустил на камень и хохотал до слез, ничего более разумного не пришло мне в голову. Джейкоб тоже поднялся на ноги, выкрикивая угрозы и проклятия, и увидел, что охотник пытается снять с себя мешок.

— А-а-а! — завопил он, прыжками поднимаясь к нам по склону. — Глупый человек, добыча сейчас убежать!

Он обхватил охотника руками, и оба упали навзничь прямо на ковер вьюнка. К этому времени остальные охотники уже посадили детенышей в мешки и могли теперь прийти на выручку товарищу; они оттащили Джейкоба и помогли охотнику снять с ноги мешок. По счастью, даман выпустил из зубов его ногу, когда попал в мешок, и, видимо, так перепугался, что уже не стал больше кусаться, но, конечно, бедняга охотник порядком намаялся.

Меня все еще душил смех, хотя я и старался изо всех сил скрыть это от окружающих; как мог, я успокоил раненого охотника, отчитал Джейкоба за его поведение и сказал ему, что из-за собственной глупости он получит только половину обещанной платы за поимку зверька, а вторая половина пойдет охотнику — ведь по милости Джейкоба он чуть не лишился ноги. Мое решение все, включая, как ни странно, самого Джейкоба, встретили одобрительными кивками и удовлетворенным хмыканьем. Я давно убедился, что у большинства африканцев в высшей степени развито чувство справедливости и они от души одобряют всякий справедливый приговор, даже если он вынесен против их самих.

Восстановив таким образом порядок и оказав первую помощь раненому, мы двинулись дальше по долине. Мы окурили еще несколько пещер и ям, но безуспешно и, наконец, без всякого кровопролития загнали и поймали большого самца дамана. Теперь у меня их было целых четыре штуки — мне выпала просто неслыханная удача! И я решил, что пора, пожалуй, возвращаться. Мы вышли из долины, обогнули горный отрог, спустились по отлогим склонам, поросшим золотистой, шелестевшей на ветру травой, и зашагали дальше. Дойдя до местности поровнее, мы остановились покурить и передохнуть; я присел на корточки в теплой траве и оглянулся на горы — оттуда донесся глухой раскат грома. Да, мы и не заметили, что по небу к нам подплыла тяжелая мрачная туча, похожая очертаниями на огромную персидскую кошку, и что она уже растянулась по гребням гор. Под ее тенью зелень и золото гор померкли, перешли в угрюмый темно-лиловый цвет, а долины чернели резкими косыми полосами. Туча двигалась, меняла очертания и то свивалась, то развивалась, словно месила и мяла горную грядку, как кошка мнет лапами гигантское кресло. Временами в этой громаде появлялся разрыв, и тут ее пронизывало острое солнечного луча; чистым золотом освещались горы под ним, трава на их сумрачно лиловых боках вспыхивала изжелта-зелеными пятнами. С поразительной быстротой туча становилась все темнее, мрачнее, словно бы разбухала, готовясь пролиться дождем. И вот уже там рушатся, падают молнии, будто колкие, зазубренные серебряные сосульки, и горы дрожат от раскатов грома.

— Маса, надо идти скоро-скоро, — сказал один из охотников. — Где-то этот гроза нас догонять.

Мы торопились, чуть не бежали, но все-таки не успели — туча пролилась над вершинами гор и, точно в замедленном прыжке, растянулась по небу позади нас. Поднялся порывистый, холодный ветер и сейчас же полил дождь, сплошная серебряная завеса; в первые же секунды мы промокли до нитки. Рыжая земля потемнела и стала скользкой, дождь свистел в траве так громко, что разговаривать было почти невозможно. Когда мы подошли к окраинам Бафута, зубы у нас стучали от холода, а насквозь промокшая одежда леденила тело при каждом шаге. Мы вышли уже на последний участок дороги, и тут дождь понемногу стал стихать, еще побрызгал легким душем, а потом и вовсе перестал; с промокнувшей земли поднялся белый туман и разбился о наши ноги, как огромная волна во время отлива.

ГЛАВА IV. Монарх и конга

Наконец настал великий день торжественной церемонии сбора травы. Я проснулся перед зарей, когда звезды только еще начали редеть и меркнуть, когда даже самые молодые и восторженные деревенские петушки еще не пробовали свой голос; меня разбудил рокот маленьких барабанчиков, смех, громкий говор и мягкое шарканье босых ног по пыльной дороге внизу, перед домом. Я лежал и прислушивался ко всем этим звукам до тех пор, пока пробуждающийся день не окрасил небо за окном в нежно-зеленоватый цвет; тут я встал и вышел на веранду посмотреть, что происходит.

В туманном утреннем свете сгрудившиеся вокруг Бафута горы светились розовато-лиловым и серым, там и сям их рассекали беспорядочным узором темные полосы долин; в их глубине еще таилась черная и темно-лиловая тьма. Небо было великолепное — черное на западе, где еще дрожали последние звезды, желтовато-зеленое у меня над головой, а у восточной кромки холмов оно переходило в нежнейшую голубизну, как перо зимородка. Я прислонился к той стене веранды, которую сплошь оплела огромной паутиной бугенвиллея, точно небрежно накинутый плащ из кирпично-красных цветов, и обвел взглядом лестницу из семидесяти пяти ступенек, дорогу вниз и за ней двор Фона. По дороге справа и слева надвигался плотный людской поток; люди смеялись, болтали и время от времени били в маленькие барабанчики. Каждый нес на плече длинный деревянный шест, а к шесту была привязана большая, конусом, связка сухой травы. Рядом бежали ребятишки, они тоже несли на тонких деревцах связки поменьше. Люди проходили мимо арки, ведущей во двор Фона, и сбрасывали свою ношу в кучу под деревьями у обочины дороги. Потом входили во двор под аркой и там останавливались группами, болтая и смеясь; порой флейта и барабан заводили какую-нибудь короткую мелодию, и тотчас из толпы выходили танцоры; они шаркали ногами по земле под рукоплескания и восторженные крики зрителей. Это было веселое, оживленное и добродушное сборище.

К тому времени, как я покончил с завтраком, кучи травы под деревьями у дороги вздымались чуть ли не до небес; когда на них падала новая связка, вся куча покачивалась — того и гляди рассыплется; двор был битком забит народом, людям уже не хватало места и многие остались под аркой и на дороге. В воздухе звенели голоса — те, кто пришел пораньше, здоровались с вновь пришедшими и корили их за леность. Дети с визгом и хохотом гонялись друг за другом, то ныряя в толпу, то выскакивая из нее, а за ними с восторженным тьяканьем весело носились стаи тощих, ободранных собак. Я спустился по семидесяти пяти ступенькам на дорогу и присоединился к толпе: мне было очень приятно и лестно, что никто не возражал против моего присутствия, наоборот, многие дружелюбно мне улыбались, а когда я стал со всеми здороваться на привычном им ломаном английском, они заулыбались еще шире и приветливей. Потом я поудобней устроился у дороги, в тени огромного куста гибискуса — он весь был усыпан пунцовыми цветами и гудел роями всевозможной мошкары. Я сидел там, курил и глядел на плывущую мимо праздничную толпу: очень скоро вокруг меня собрались тесным кружком ребятишки и подростки и молча за мной наблюдали. Наконец меня отыскал запыхавшийся Бен; уже давно прошло время обеда, укоризненно сообщил он мне, и все вкусные вещи, что приготовил повар, теперь уже, конечно, никуда не годятся. Я неохотно покинул кружок моих поклонников — все они вежливо встали и пожали мне руку — и поплелся за все еще ворчавшим Беном обратно к дому.

После обеда я снова спустился на свой наблюдательный пункт под гибискусом и продолжал взглядом антрополога изучать обитателей Бафута, которые непрерывным потоком двигались мимо меня. Видимо, в утренние часы я наблюдал тут простой рабочий люд. Как правило, всю одежду простолоудина составлял цветастый саронг, плотно обернутый вокруг бедер; так же одеты и женщины, впрочем, иные — глубокие старухи — носили одну лишь набедренную повязку из полоски кожи. Я понял, что это и есть их исконное одеяние, а яркий саронг — дань современности, новомодная одежда. Почти у каждой пожилой женщины в зубах трубка, но не короткая, точно обрубок, какие в ходу у равнинных племен, а длинная, с изящным чубуком, напоминающая старинные глиняные

трубки, и все эти трубки прокурены дочерна. Вот так выглядел рабочий люд Бафута. После обеда на дороге появились члены совета, мелкие князьки и иные важные и влиятельные лица, и уж этих-то никак нельзя было спутать с обыкновенными тружениками. Все они были разряжены в длинные, просторные одежды великолепных ярких цветов (одежды эти шелестели и сверкали на ходу), а на головах красовались маленькие, тесно облегающие череп круглые шапочки, расшитые сложным ярким узором, какие я видел уже не раз. Некоторые несли в руках жезлы из какого-то темно-коричневого дерева, покрытые удивительно тонкой ажурной резьбой. Все они были уже пожилые или даже старые люди, явно очень гордились своим высоким положением в обществе и каждый здоровался со мной весьма торжественно, тряс мне руку и несколько раз выразительно повторял: «Приветствую». Таких аристократов было много, и они придавали всей церемонии удивительную окраску. В пять часов мне пора было возвращаться домой пить чай; по пути я остановился на верхней площадке лестницы и посмотрел вниз, на огромный двор: он был набит битком, так что даже земля лишь изредка мелькала рыжими пятнами там, где веселые танцоры в своих неиссякаемых коленцах отпрыгивали в сторону. В толпе яркими пятнами мелькали цветастые одежды старейшин — будто по клумбе чернозема разбросаны пестрые цветы. К вечеру я оказался уже в самой гуще толпы и старался сделать несколько снимков, пока еще не совсем СТЕмнело. И тут ко мне вдруг протиснулась живописная фигура. Это был гонец от Фона, его развевающиеся одежды переливались алым, золотым и зеленым, а в руке он сжимал длинный кожаный хлыст. Он сообщил мне, что его прислал Фон и, если я вполне готов, он проводит меня к своему монарху на праздник сбора сухой травы. Я поспешно засунул в фотоаппарат новую пленку и стал пробираться за ним в толпе, с восхищением глядя, как легко он прокладывает себе путь в сплошной человеческой толще. Посланник Фона провел меня по всему огромному двору, вывел через ворота под аркой, потом по узкому проходу мы дошли до других ворот под аркой и наконец очутились в лабиринте крохотных двориков и переходов. Разобраться в них было невозможно, но мой провожатый был тут как рыба в воде: он ловко нырял и скользил в нужные проходы, через дворики, вверх и вниз по маленьким лестничкам, и наконец мы прошли под осыпающейся кирпичной аркой в длинный двор размером с четверть акра, огороженный высокой стеной из красного кирпича. В конце этого двора росло высокое дерево манго, вокруг его гладкого ствола возведен был круглый помост; на помосте стояло большое, обильно украшенное резьбой кресло, а на кресле восседал Фон Бафута.

Наряд его был столь ошеломляюще великолепен, что в первую минуту я его даже не узнал: небесно-голубое, очень красивого оттенка одеяние было расшито удивительными красными, желтыми и белыми узорами. На голове красовалась остроконечная красная фетровая шапочка, на которую нашили множество волосков из слоновьего хвоста. Издали казалось, что на голове у него конусообразный стог сена. В одной руке он держал мухобойку, деревянную ручку ее украшала тончайшая резьба, а сама кисточка — густой шелковистый пучок волос — сделана из длинного черно-белого хвоста гверецы. Но эту весьма внушительную картину несколько портили ноги Фона, которые покоились на огромном, уже пожелтевшем и почерневшем от старости бивне слона: они обуты были в очень остроносые пестрые туфли, из которых выглядывали желто-зеленые носки.

Фон пожал мне руку, задушевно осведомился о моем здоровье. Мне принесли кресло, и я уселся подле него. По сторонам двора разместились всевозможные советники, князья и их полуголые жены; все они сидели на корточках вдоль кирпичной стены ограды и пили вино из каких-то особенных фляжек: в сущности это были покрытые резьбой коровьи рога. На фоне красной кирпичной стены разноцветные одежды мужчин казались необычайной красоты гобеленом. Слева от кресла Фона высилась груда черных калебасов, заткнутых пучками зеленых листьев: они были наполнены мимбо, или пальмовым вином — любимым напитком камерунцев. Одна из жен Фона принесла стакан и мне, потом подняла калебас, вынула затычку и плеснула немножко вина и протянутую ладонь Фона. Тот задумчиво подержал напиток во рту, потом выплюнул и покачал головой. Отведал содержимое еще одного калебаса — с тем же успехом, потом попробовал еще два. Наконец попался калебас,

вино в котором Фон нашел достойным себя и меня, и его жена наполнила мой стакан. Мимбо по виду напоминает сильно разбавленное водой молоко, а вкус у него мягкий, чуть кисловатый, как у лимонада, но все это коварнейший обман. По-настоящему хорошее мимбо кажется на вкус таким безобидным, что вводит в соблазн — пьешь еще и еще и вдруг обнаруживаешь, что это вовсе не такой невинный напиток, как казалось. Я пригубил, причмокнул от удовольствия и поздравил Фона с отличным качеством вина. Я заметил, что все советники и князья пили из коровьих рогов, заменявших им бокалы, а Фон поглощал вино из рога буйвола, прекрасно отшлифованного и украшенного превосходной резьбой. Мы просидели там до тех пор, пока почти совсем не стемнело, не переставая болтать, а калебасы с мимбо понемногу пустели.

Наконец Фон решил, что настала великая минута — пора угостить всю массу людей, которые сошлись на его зов. Мы встали и пошли по двору между двойными рядами низко кланявшихся подданных Фона; мужчины при этом размеренно били в ладоши, а женщины прикрывали рот ладонями, похлопывали себя по губам и оглашали воздух криками, похожими на гудки сирен, — а я-то по своему невежеству до сих пор полагал, что такие вопли издают только краснокожие индейцы! Мы проходили через всевозможные двери, переходы и крохотные дворики, а вся свита следовала за нами, все так же хлопая в ладоши и гудя. Когда мы вышли из-под арки в главный двор, толпа дружно выразила свое одобрение оглушительным ревом, все стали хлопать в ладоши и бить в барабаны. Под звуки шумных приветствий мы с Фоном прошли вдоль стены к тому месту, куда уже принесли и водрузили на разостланной шкуре леопарда трон Фона. Мы уселись, фон махнул рукой, и начался пир на весь мир.

Из-под арки потекла нескончаемая процессия молодых людей, совсем обнаженных, если не считать маленькой набедренной повязки; на лоснящихся мускулистых плечах они несли всевозможные угощения для подданных Фона. Тут были калебасы с пальмовым вином и пивом, огромные связки красноватых и золотисто-желтых бананов, туши больших тростниковых крыс, мангуст, летучих мышей, антилоп и обезьян, громадные куски питона — все это основательно прокопченное и насаженное на бамбуковые шесты. Были также сушеная рыба, сушеные креветки и свежие крабы, красный и зеленый перец, плоды манго и папайи, апельсины, ананасы, кокосовые орехи, маниока и сладкий картофель. Пока раздавали всю эту невообразимую массу снеди, Фон приветствовал старейшин, советников и князьков. Каждый подходил к нему, низко склонялся в поклоне и трижды ударял в ладоши. Фон в ответ коротко, царственно кивал, и подошедший, пятась, удалялся. Если кто-либо хотел обратиться к монарху, он должен был говорить через сложенные лодочкой руки.

К этому времени я проглотил уже изрядное количество мимбо и преисполнился необычайного благодушия: то же самое, видимо, произошло и с Фоном. Он вдруг буркнул какой-то приказ, и к моему ужасу рядом с нами появился столик с двумя стаканами и бутылкой джина какой-то французской марки, о которой я прежде не слыхивал и впредь не жажду возобновлять это знакомство. Фон налил в стакан дюйма три джина и подал мне: я улыбнулся и постарался сделать вил, будто изрядная порция неразбавленного джина — именно то, о чем я мечтал. Я осторожно понюхал стакан — пахнет керосином лучшего сорта. Нет, с таким количеством чистого джина мне просто не справиться, и я попросил принести воды. Фон опять что-то рявкнул, и тут же прибежала одна из его жен; в руке он сжимала бутылку горькой настойки.

— Горькая! — гордо объявил Фон и плеснул в мой стакан две чайные ложки.

— Ты любишь джин с горькая настойка?

— Да, — сказал я и через силу улыбнулся. — Обожаю джин с горькой настойкой.

Первый же глоток этого пойла едва не прожег мне горло насквозь: в жизни я не пил чистого спирта да еще с таким отвратительным привкусом. Даже Фон, которому, казалось, все было нипочем, после первого глотка как-то странно заморгал. Потом отчаянно закашлялся и повернулся ко мне, утирая слезящиеся глаза. — Очень крепкое, — заметил он.

Когда принесли наконец всю еду и разложили огромными грудами прямо перед нами,

Фон призвал всех к молчанию и произнес перед собравшимися обитателями Бафута краткую речь: он рассказал им, кто я такой, зачем сюда приехал и что мне надо. Пол конец он объяснил, что они должны изловить для меня побольше всяких животных. Толпа выслушала эту речь в глубоком молчании, а когда Фон кончил говорить, все захлопали в ладоши и громко закричали нечто вроде «А-а-а!». Фон с довольным видом уселся в свое кресло и в порыве восторга разом отхлебнул полстакана джина с горькой настойкой. За этим опрометчивым поступком последовали пять минут, мучительные не только для него, но и для всех нас: он кашлял и корчился на своем троне, по лицу его ручьями текли слезы. Наконец он немного отдышался и сидел молча, глядя покрасневшими злыми глазами на свой стакан с джином. Потом отпил чуть-чуть, в раздумье подержал напиток во рту и доверительно наклонился ко мне.

— Этот джин, оно сильно крепкий, — хрипло шепнул он. — Мы отдавать этот крепкий питье всем наш маленький-маленький люди, а потом уйти в мой дом и выпить, а?

Я охотно согласился, что отдать джин князькам и советникам — маленьким-маленьким людям, как их называл Фон, — превосходная мысль.

Фон осторожно огляделся — не подслушивает ли нас кто-нибудь, но вокруг толпились всего каких-нибудь пять тысяч человек, и он решил, что совершенно спокойно может открыть мне свой секрет. Поэтому он еще раз наклонился ко мне и снова зашептал:

— Скоро мы идти в мой дом, — в его тоне послышалось неподдельное ликование, — и мы пить виски «Белая лошадь».

Потом откинулся в кресле, чтобы взглянуть, какое впечатление произвели на меня эти слова. Я закатил глаза и изо всех сил постарался сделать вид, что очень счастлив от одной мысли о таком угощении, а сам в ужасе подумал: виски после мимбо и джина — да что же это будет?! А Фон, очень довольный, стал подзывать к себе по одному своих «маленьких-маленьких» людей и выливал остатки джина в их «бокалы» из коровьего рога, еще наполовину полные мимбо. В жизни я не расставался со спиртным так охотно и радостно. Какие же надо иметь луженые желудки, чтобы выдержать и даже смаковать коктейль, составленный из такового джина с мимбо! При одной мысли о нем меня начинало тошнить.

Осчастливив этой сомнительной милостью своих подчиненных, Фон поднялся на ноги и под рукоплескания, бой барабанов и клики, подобные воинственному кличу краснокожих индейцев, повел меня через путаную сеть перехода и двориков к себе; его собственная вилла затерялась — почти не разглядеть — среди травяных хижин его многочисленных жен, точно спичечная коробка в пчельнике. Мы вошли внутрь и очутились в просторной комнате с низким потолком; тут стояли шезлонги и большой стол, деревянный пол устлала прекрасные леопардовые шкуры и очень яркие плетеные из травы циновки — изделие местных искусников. Полагая, что он уже исполнил свой долг перед подданными, Фон растянулся в шезлонге.

Принесли «Белую лошадь», мой хозяин с удовольствием почмокал губами, когда раскупорили непечатую бутылку, и дал мне понять, что теперь, после того как скучные государственные обязанности позади, можно начать пить в свое удовольствие. Далее мы добрых два часа непрерывно пили и длинно, во всех подробностях обсуждали, с каким ружьем лучше всего охотиться на слона, из чего делается виски «Белая лошадь», почему я не бываю на обедах в Букингемском дворце и прочие волнующие темы. После двух часов такого времяпрепровождения ни вопросы Фона, ни мои ответы уже не звучали столь изысканно и связно, как нам бы хотелось, поэтому Фон призвал свой оркестр: видно, он полагал, что сладостная музыка сможет рассеять пагубное действие крепких напитков, но, увы, он ошибся. Музыканты явились во двор и долго пели и плясали за окнами, а Фон тем временем потребовал еще бутылку «Белой лошади» — надо же было отметить прибытие оркестра! Потом музыканты стали полукругом, на середину вышла женщина и принялась танцевать: она раскачивалась, шаркала ногами по земле и при этом пела песню, которая звучала пронзительно и скорбно. Слов я не понимал, но песня была на редкость печальная, и

мы с Фоном оба очень расчувствовались.

Под конец Фон утер слезы и резко объявил оркестру, что желает послушать что-нибудь другое. Музыканты долго совещались и наконец разразились какой-то мелодией, в самом подходящем ритме для танца «конга». Музыка была такая живая и веселая, что настроение наше мигом поднялось; очень скоро я уже отбивал такт ногой, а Фон дирижировал оркестром, причем в руке у него все еще был зажат стакан «Белой лошади». Гостеприимство Фона разгорячило меня, да и музыка раззадорила, и в голову мне пришла отличная мысль.

— На днях ты показывал мне ваш национальный танец, верно? — сказал я Фону.

— Да, верно, — подтвердил он, стараясь подавить икоту.

— Ну вот. А хочешь, сегодня я научу тебя танцевать европейский танец?

— Ах, мой друг! — Фон просиял и обнял меня. — Да, да, отлично, учи меня. Пойдем, мы сейчас идти в дом танцев.

Мы шатаясь поднялись на ноги и побрели в его «дансинг». Впрочем, когда мы туда добрались, я увидел, что это усилие — мы прошли с полсотни шагов, а то больше! — сильно утомило моего спутника: совсем задохнувшись, он сразу рухнул на свой богато разукрашенный трон.

— Иди, сначала научи все маленькие-маленькие люди, — сказал он и замахал руками на толпу князьков и советников. — После и я танцевать тоже.

Я обозрел смущенно переминающихся с ноги на ногу советников, которых мне предстояло учить, и решил, что самые сложные па конги им сейчас не по силам. По правде говоря, я начинал думать, что сейчас эти па, пожалуй, не по силам и мне самому. Поэтому я решил: лучше удовольствуюсь тем, что покажу им только последнюю, заключительную часть танца, ту, где все танцующие выстраиваются в цепочку один за другим и ходят вокруг зала змейкой, как поведет тот, кто оказался первым. Весь зал замер, когда я предложил двадцати двум советникам подойти ко мне на середину зала, и наступила такая тишина, что слышно было, как шелестят на ходу шелковые одежды государственных мужей. Я установил их всех за мной так, чтобы каждый держался за талию стоящего впереди; потом кивнул оркестру, музыканты с жаром заиграли мелодию в ритме конги — и мы пустились в пляс. Перед тем я очень старательно объяснил моим ученикам, что им надлежит повторять каждое мое движение, и они это неуклонно выполняли. Однако очень скоро я обнаружил, что в винном погребе Фона утонули все мои познания о конге; лишь одно очень прочно сохранилось в памяти — что в какую-то минуту надо взбрыкнуть ногой, выбросить ее в сторону. И мы пошли кружить по залу; оркестр наяривал вовсю, а мы выделявали свое: шаг, два, три

— ногу вбок, шаг, два, три — вбок! Мои ученики без особого труда повторяли это нехитрое движение, и так мы торжественно кружили по залу, и все их пышные одежды шелестели в лад. Я отсчитывал такт и в нужную минуту выкрикивал «брык!», чтобы им легче было сообразить, когда надо дрыгнуть ногой, но они, видимо, восприняли мой крик как непременною часть танца, нечто вроде обрядового припева, и хором начали выкрикивать это «брык» вместе со мной. Поглядели бы вы, что творилось с нашими многочисленными зрителями! Они вопили от восторга, а всевозможные члены свиты Фона, добрых четыре десятка его жен и несколько отпрысков постарше кинулись к нам, чтобы тоже потанцевать вместе с государственными деятелями, — и каждый новый танцор становился в хвост нашей колонны и подхватывал припев вместе со всеми,

— Раз, два, три, брык! — вопили советники.

— Раз, два, три — йя-а-а! — визжали жены.

— Раз, два, три, и-и-и! — пищали дети.

Разумеется, Фон никак не мог остаться в стороне от такого веселья. Он с трудом сполз с трона и, опираясь на двух человек, подстроился к концу колонны; его движения не совпадали с дружными движениями остальных, но веселья это ему ничуть не убавляло. Я все водил и водил их вокруг зала, пока у меня не закружилась голова и мне стало казаться, что стены и потолок вздрагивают в такт прыжкам и крикам. Тут я почувствовал, что мне не худо

бы глотнуть свежего воздуха, и вывел всех во двор. Так мы и шли, длиннющей качающейся цепочкой, вверх и вниз по ступенькам, во дворы и из дворов, мимо незнакомых хижин — словом, всюду, где только можно было пройти. Оркестр, войдя в раж, не отставал — мы танцевали, а музыканты бежали за нами, обливаясь потом, но ни разу не сбились с ритма и не сфальшивили. Наконец скорее волею случая, чем сознательно, я привел своих учеников обратно в «дом танцев», и тут мы все, задыхаясь и смеясь, кучей повалились на пол. Фон еще по пути падал раза три, а теперь его довели до трона и усадили; он сиял и с трудом переводил дух.

— Ах, отличный какой танец! — воскликнул он. — Отлично, отлично!

— Тебе нравится? — пыхтя, еле выговорил я.

— Очень много нравится, — решительно провозгласил Фон. — У тебя есть большой сила: я никогда не видеть такой европейский танец.

Я ничуть не удивился: вряд ли кто из европейцев в Западной Африке тратит свой досуг на то, чтобы обучить местных князьков и их приближенных конге. Уж конечно, если бы кто-нибудь из них увидел меня за этим занятием, мне заявили бы, что я за полчаса нанес престижу белого человека больший урон, чем кто-либо за всю историю Западной Африки. Зато моя конга, видно, сильно укрепила мой престиж в глазах Фона и его двора.

— Раз, два, три, брык! — мечтательно бормотал Фон. — Отличный песня.

— Да, это совсем особенная песня, — сказал я.

— Да, правда? — сказал Фон, кивая головой. — Да, отличный.

Он в задумчивости посидел еще немного на своем троне; к тому времени оркестр снова заиграл и на середину зала вышли танцоры. Я уже чуть-чуть отдышался и стал даже гордиться собой, как вдруг Фон оживился и отдал какой-то приказ. От толпы танцующих отделилась девочка лет пятнадцати и подошла к помосту, где мы сидели. На ней была только крошечная набедренная повязка, так что ее прелести не оставляли никаких сомнений, пухлое умщенное тело лоснилось. Она бочком придвинулась к нам и застенчиво улыбнулась; Фон наклонился и схватил ее за руку. Одним ловким рывком он усадил ее ко мне на колени, и тут она и осталась сидеть, вздрагивая от смеха.

— Это для тебя, этот женщина, — сказал Фон и величественно повел огромной рукой. — Он хороший. Это мой дочь. Давай женись на ней.

Сказать, что я был потрясен, значит ничего не сказать: я просто оцепенел от ужаса. Мой хозяин уже пришел в то блаженное состояние, за которым обычно наступает крайняя воинственность, и я понимал, что отказываться надо как можно осторожнее и тактичнее, иначе я испорчу все, чего достиг за этот вечер. Я беспомощно оглядел зал и впервые за все время заметил, что очень многие в толпе вооружены копьями. Оркестр уже перестал играть и все выжидательно смотрели на меня. Фон тоже уставился на меня осоловевшими глазами. Я понятия не имел, вправду ли он предлагает мне эту девицу в жены или для пристойности обозначает этим словом нечто совсем другое. Что бы там ни было, надо как-то отказаться; не говоря уже ни о чем другом, девица была отнюдь не в моем вкусе. Я облизнул губы, откашлялся и сделал все, что мог: прежде всего я поблагодарил Фона за то, что он так любезно предложил мне свою хорошо промасленную дочь (она была такая увесистая, что у меня уже ныли колени), однако же, как мне известно, он отлично осведомлен о дурацких обычаях моих соотечественников и, следовательно, понимает, что англичанин при всем желании не может завести себе более одной жены. При этом моем замечании Фон рассудительно закивал. Поэтому, продолжал я, мне поневоле придется отклонить его в высшей степени лестное предложение — ведь у меня уже есть жена в Лондоне и будет незаконно и далеко не безопасно привезти туда с собой вторую. Конечно, не будь я женат, торопливо продолжал я, для меня не было бы большего счастья, чем принять его подарок, жениться на этой девушке и осесть в Бафуте до конца моих дней.

С великим облегчением услышал я гром рукоплесканий, раздавшихся, едва я окончил свою речь; только Фон чуть всплакнул, когда понял, что его прекрасной мечте не суждено сбыться. Пока все кричали и хлопали, я спустил с колен мою толстушку, легонько

подшлепнул ее, и она, все еще хихикая, отправилась в зал танцевать. Ну, на сегодняшний вечер с меня хватит дипломатических переговоров, решил я и предложил разойтись по домам. Фон и его свита проводили меня на большой двор, и здесь Фон решительно потребовал, чтобы я позволил ему обхватить меня за талию и еще раз сплясал с ним конгу Даррелла. Толпа немедленно увязалась за нами, и мы протанцевали вокруг площади, брыкаясь и крича так, что перепугали всех крыланов — они вылетели из листвы деревьев манго, — и все собаки на несколько миль вокруг залились отчаянным лаем. У подножия лестницы мы с Фоном прочувствованно распростились, и я еще постоял и поглядел, как все они, пошатываясь, выплясывали конгу на обратном пути через двор. Потом я наконец взобрался на свои семьдесят пять ступенек, мечтая, что сейчас улягусь в постель. Наверху меня взором, полным укоризны, встретил Бен с фонариком.

— Сэр, тут охотники пришел, — сказал он.

— Как, в такое время?! — спросил я с изумлением: шел уже четвертый час ночи.

— Да, сэр. Сказать ему, чтоб ушли?

— Они принесли что-нибудь? — с надеждой спросил я, и перед моим мысленным взором возникли некие редкостные экземпляры.

— Нет, сэр. Они хотел поговорить с маса.

— Ну ладно. Пусть войдут, — сказал я, падая в кресло.

Через несколько минут Бен ввел в комнату пятерых очень молодых и очень смущенных охотников, все они сжимали в руках копыя. Охотники поклонились и вежливо сказали: «Добрый вечер». Выяснилось, что они тоже присутствовали на сегодняшнем празднике и слышали речь Фона; живут они в деревне довольно далеко от Бафута и потому решили повидать меня, прежде чем возвращаться домой, и узнать поточнее, какие именно животные мне нужны. Я похвалил их за усердие, роздал им сигареты и принес книги и фотографии. Мы долго их разглядывали, и я рассказал охотникам, какие животные мне особенно нужны и сколько я за них буду платить. Они совсем было уже собрались уходить, как вдруг один заметил лежавший у меня на кровати рисунок, который я им не показывал.

— Маса хочет этот добыча? — спросил он.

Я взглянул на рисунок, потом на молодого охотника; он, видимо, не шутил.

— Да, — сказал я, как мог выразительнее. — Я очень хочу эту добычу. А что, ты ее знаешь?

— Да, сэр, я его знаешь, — подтвердил охотник.

Я поднял рисунок и показал остальным.

— Посмотрите хорошенько, — предупредил я. Они все уставились на листок с рисунком. — Ну что, вы и правда знаете эту добычу? — спросил я опять.

— Да, сэр, — дружно ответили охотники. — Мы его хорошо знаете.

Я сел и уставился на них, как на пришельцев с другой планеты. Они преспокойно узнали животное, изображенное на рисунке, и это меня потрясло: я уже очень давно мечтал поймать эту, быть может, самую замечательную амфибию в мире — ученым она известна под названием *Trichobatrachus robustus*, а обыкновенные люди называют ее попросту волосатой лягушкой.

Тут необходимо кое-что пояснить. Во время моей предыдущей поездки по Камеруну все мои помыслы были направлены на то, чтобы заполучить хоть одну такую чудо-амфибию, но ничего не вышло. В то время я искал ее в низинных лесах, и все тамошние охотники, которым я показывал рисунок, в один голос твердили, что такого на свете не бывает. Я стоял на своем, а они с жалостью на меня глядели — вот, мол, еще одно доказательство непостижимой глупости белого человека, ведь даже малые дети знают, что у лягушек не бывает волос! У зверей — волосы, у птиц — перья, а у лягушек есть только кожа и ничего больше. И раз уж им было доподлинно известно, что такой лягушки на свете нет, они даже не подумали ее искать, хоть я предлагал за нее огромные деньги. Что толку искать сказочное чудовище — лягушку с волосами? Я сам провел в лесу немало мучительных ночей, бродил босиком вверх и вниз по ручьям и речушкам в поисках этого ускользающего от меня

земноводного, пока не свалит с ног усталость, но тщетно. После этого я и сам поверил, что все учебники врут, а охотники правы: в низинных лесах эту лягушку не найти. Одно лишь упоминание о волосатой лягушке тотчас вызывало среди жителей низин презрение и насмешки — и во время моей второй поездки я, жестоко разочарованный, никому даже не стал показывать этот рисунок; конечно же, горные охотники будут единодушны со своими собратьями из больших лесов. Вот почему я так разволновался и изумился, когда молодой охотник без всякой моей подсказки сразу узнал необыкновенную амфибию и вдобавок осведомился, нужна ли она мне.

Я подробно расспросил охотников, весь дрожа, точно гончая на следу. Да, подтвердили они в третий раз, они знают это животное; да, у него есть волосы; да, его нетрудно поймать. Я спросил, в каких местах оно водится, и небрежные взмахи рук ясно показали мне, что таких лягушек полным-полно в здешних лесах. Глаза у меня загорелись, и я спросил, знают ли они точно место, куда за этой лягушкой можно пойти. Да, был ответ, есть такая «маленький вода» примерно в двух милях от Бафута, там ночью всегда можно увидеть волосатых лягушек. Дальше я слушать не стал. Выбежал на веранду и завопил что есть мочи. Мои помощники, спотыкаясь и продирая на ходу сонные глаза, выскочили из своей хижины и собрались у меня на веранде.

— Этот охотник говорит, он знает, куда идти, где поймать вот эту добычу, — объяснил я. — И мы идем за ней.

— Сейчас, сэр? — в ужасе спросил Бен.

— Да, прямо сейчас, идите все за мешками и фонарями. Скорей, скорей!

— Прямо ночью? — умирающим голосом переспросил Бен: уж очень он любил поспать.

— Да, сейчас! Ну, пошевеливайся, хватит зевать, челюсть вывихнешь! Ступайте все за мешками и фонарями!

Мои помощники с опухшими со сна глазами, не переставая зевать, неохотно повиновались. Джейкоб, повар, на минутку задержался и стал объяснять мне, что он повар, а не охотник и совершенно не понимает, почему он должен менять свою специальность в четыре часа ночи.

— Друг мой, — сказал я твердо. — Если ты через пять минут не принесешь сюда мешок и фонарь, то утром ты уже не будешь ни охотником, ни поваром. Понятно?

Джейкоб поспешно кинулся вслед за остальными на поиски своего охотничьего снаряжения. Не прошло и получаса, как мой сонный отряд был в сборе и мы двинулись по росистой дороге искать волосатых лягушек.

ГЛАВА V. Охота на волосатых лягушек

Мы шли по пыльной дороге в смутном свете звезд, а по обе стороны от нас сверкала отяжелевшая от росы трава, Луны не было, в этом нам повезло: когда охотишься ночью при свете фонарей, луна не помогает, а только мешает — она отбрасывает причудливые тени, среди которых легко может скрыться твоя дичь; кроме того, лунный свет ослабляет свет фонаря.

Маленькая группка охотников шагала вперед — сна ни в одном глазу, все бодрые и нетерпеливые, а мои помощники, которым я так щедро платил, плелись сзади, беспрерывно зевали и едва передвигали ноги. Только Джейкоб шел рядом со мной: видно, он решил, что раз уж не удалось улизнуть от этой охоты, то лучше хорошенько постараться. Время от времени, когда позади раздавался особенно громкий зевок, он неодобрительно оглядывался и насмешливо фыркал.

— Эти люди, у них нет сила, — говорил он с презрением.

— Наверно, они просто забыли, что я плачу пять шиллингов за каждую лягушку, — отвечал я громко и отчетливо.

В ночной тишине мой голос разнесся далеко — и тут же зевки и шарканье ног

прекратились как по команде; вся замыкавшая шествие компания сразу проснулась. Пять шиллингов за лягушку — деньги нешуточные!

— Я не забыть, — с хитрой улыбочкой сказал мне Джейкоб.

— В этом я и не сомневался, — строго ответил я. — Ты ведь на редкость беспринципный западноафриканский Шейлок.

— Да, сэр, — преспокойно согласился Джейкоб.

Смутить его было просто невозможно: если он не понимал моих слов, то все равно на всякий случай безоговорочно со мной соглашался.

Мы прошли по дороге еще мили полторы, и тут охотники свернули на узкую тропку в высокой траве; тропка была скользкая от росы и самыми невероятными зигзагами взбиралась вверх по склону холма. Вокруг нас, во влажной чаще высоких спутанных трав, со всех сторон призывно квакали крохотные лягушки и стрекотали цикады, точно отстукивали такт миллионы лилипутских метрономов; вот сбоку у самой тропинки неуверенной спиралью взвился большой бледный мотылек, он взмывал все выше, и вдруг из тени стремительно и прямо, как стрела, вылетел козодой, щелкнул клюв — и мотылек исчез. Птица повернула и унеслась вниз вдоль склона так же неслышно, как и появилась. Наконец мы добрались до вершины холма, и тут охотники сообщили мне, что ручеек, о котором они говорили, лежит в долине прямо перед нами. В сущности это оказалась даже не долина, а глубокое, узкое, полное теней ущелье между двумя гладкими округлыми горами; извилистое русло ручья сразу бросалось в глаза: его обрамляла темная бахрома невысоких деревьев и кустов. Когда мы спустились в полумрак долины, до нас донесся шум воды, она журчала и плескалась среди валунов, усыпавших русло, и тропка сразу размокла, под ногами противно зачмокала липкая глина. Мы осторожно скользили по ней, ноги наши разъезжались, а грязь неприятно хлопала и старалась не выпустить из цепкой хватки наши башмаки.

Ручей торопливо сбегал по долине, скатывался по ней множеством широких, мелких, усеянных камнями ступеней, каждая непременно заканчивалась маленьким, не выше восьми футов водопадом — тут ручей собирался в сверкающий, точно отполированный водяной столб и обрушивался в круглое озерцо, словно в чашу, выдолбленную среди скал; здесь вода бешено кружилась в ореоле серебряных всплесков, потом устремлялась меж каменных россыпей к новому водопаду. Длинные травы клонились над ручьем, точно нечесаная золотистая грива какого-то зверя, а между влажно блестящими каменными глыбами из густого мха, который устилал все вокруг зеленым бархатным ковром, поднимались тонкие кружевные папоротники и другие тоненькие растеньица. По берегам осторожно, на цыпочках, расхаживали маленькие розовые и темно-коричневые крабы, их тут было великое множество; когда мы выхватывали их из темноты лучами наших карманных фонариков, крабы угрожающе поднимали клешни и еще того осторожней пятились прямо в норки, которые они выкопали себе в красной глине. Мы шли по высокой траве, и у нас из-под ног то и дело взлетали десятки крохотных белых мотыльков и снежными облачками уносились за ручей. Мы присели на корточки на берегу покурить и обсудить порядок действий. Охотники объяснили, что искать лягушек лучше всего в истоках маленьких водопадов, но можно их найти и под плоскими камнями в тех местах, где ручей не такой глубокий. Я решил, что лучше всего растянуться цепочкой поперек ручья и двинуться вверх против течения, переворачивая каждый камень, который можно будет поднять, и заглядывая в каждую ямку и в каждую щелку, где могла бы укрыться волосатая лягушка. Так мы и сделали и целый час упорно взбирались вверх по холму к истоку ручья — шлепали по неглубокой ледяной воде, оскальзывались на мокрых камнях и светили фонариками в каждый укромный уголок, с безмерной осторожностью переворачивали каждый подозрительный камень.

Среди камней было полным-полно крабов, они щелкали клешнями и удирали от нас во весь опор, ярко-зеленые, как трава, лягушки с удлинненными, точно пули, телами, прыгали в воду с громким всплеском и пугали нас, а вокруг неизменно вилось дрожащее облачко мельчайших мотыльков, маленькие летучие мыши то появлялись в луче фонарика, то пропадали, только волосатых лягушек не было и в помине. Мы почти не разговаривали на

ходу; в тишине на тысячу голосов бормочет, лепечет и звенит ручей, сбегая по своему руслу. В густой траве трещат цикады да испуганно вскрикнет порой птица, потревоженная нашим фонариком, и еще послышится клокотанье, сосущий звук, точно в воронке, и следом громкий всплеск, когда кто-нибудь из нас перевернет камень на глубоком месте. Один раз, когда мы одолевали невысокий, но крутой утес, с которого, точно трепетная кружевная пелена, свисал водопад, вдруг раздался громкий крик и что-то шумно плюхнулось в воду. Мы торопливо осветили фонариками основание водопада и обнаружили, что Джейкоб — он последним взобрался на утес — наступил на водяную змею, которая свернулась кольцом в выбоине. Со страху он попытался подпрыгнуть повыше, но попытка не удалась, потому что он в эту минуту едва удерживался на крутизне, довольно рискованно прижимаясь к утесу футах в пяти от земли. Джейкоб все же свалился в озерцо под водопадом и вылез оттуда целый и невредимый, только промок до нитки да зубы у него выбивали дробь: вода была ледяная.

Черное небо на востоке медленно светлело, становилось бледно-зеленым, близился рассвет, а мы все еще не нашли неуловимое земноводное. Охотники совсем приуныли, искренне огорченные нашей неудачей, и горестно объяснили, что, как только рассветет, продолжать поиски будет бесполезно, тогда уж лягушка ни за что не покажется на свет. Значит, у нас остается всего часа два и за это время надо выследить ее и поймать; итак, мы продолжали свой путь вверх по ручью, но я был убежден, что сегодня нам не повезло и ничего уже не выйдет. Наконец, промокшие, замерзшие и отчаявшиеся, мы вышли в широкую плоскую долину, тут было полно огромных валунов и ручей пробирался среди них, извиваясь как змея. Местами между камней образовались довольно глубокие тихие озерца, местность здесь была ровная, течение медленное, спокойное и ручей разлился чуть не вдвое шире прежнего. Валуны, разбросанные как попало, торчали порой, наклонись под самыми невероятными углами, точно гигантские древние могильные камни, совсем черные под звездным небом. Все они густо поросли мхом и оплетены были ползучими Дикими бегониями.

Мы прошли уже почти половину этой долины, и я решил сделать привал и покурить. Подошел к маленькой заводи, которая лежала, как черное зеркало в оправе высоких камней, выбрал гладкий камень посуше, сел, выключил фонарик и приготовился насладиться сигаретой. Фонарики моих спутников мигали и сверкали между камней — они пошли дальше по долине, шлепая по воде, и вскоре шаги их затерялись среди множества ночных звуков. Я докурил сигарету и отшвырнул окурок; он описал в воздухе дугу, точно пламенеющий светлячок, упал в воду, зашипел и погас. И почти в ту же секунду что-то с громким всплеском прыгнуло в озерцо и гладкая черная вода рассыпалась серебряной рябью. Я мигом зажег фонарик и осветил поверхность воды, но ничего не увидел. Тогда я осветил покрытые мхом камни на краю этого крохотного озера. Совсем рядом со мной, на самом краешке большого валуна, сидела большущая, лоснящаяся лягушка шоколадного цвета, и ее толстые ляжки и бока покрывала спутанная масса чего-то, очень похожего на волосы.

Я замер, я не смел даже перевести дух — ведь лягушка примостилась на самом краешке камня, нависшего над водой: она сидела подозрительная, настороженная, готовая в любую секунду оттолкнуться от камня и прыгнуть вниз. Если ее испугать, она спрыгнет с камня прямо в черную воду, и тут уж пиши пропало! Ее не поймаешь... Минут пять я оставался недвижим, как камни вокруг, и постепенно волосатая лягушка привыкла к свету фонаря и, видно, немного расслабилась. Один раз она, правда, чуть пошевелилась, моргнула своими влажными глазами, и я в ужасе подумал: все, сейчас она спрыгнет! Но лягушка просто поудобнее устроилась на камне, и я вздохнул с облегчением.

Тем временем я наскоро обдумывал план действий: сперва надо ухитриться переложить фонарик из правой руки в левую так, чтобы не встревожить лягушку; потом я буду очень медленно и незаметно наклоняться вперед до тех пор, пока моя рука не окажется достаточно близко от ее жирного тела, и тогда попытаюсь мгновенно схватить драгоценную добычу. Пока я справился с фонариком, мне пришлось изрядно поволноваться, потому что лягушка

неотступно следила за моими движениями тревожным и подозрительным взглядом; но вот наконец фонарик уже в левой руке. На несколько минут я снова замер — пусть она успокоится; потом согнул пальцы ковшиком и медленно, с предельной осторожностью стал поддвигать руку к лягушке. Ближе, ближе... дюйм за дюймом... и вот моя рука повисла прямо над лягушкой! Я вздохнул поглубже и решил: хватать! Едва моя рука ринулась вниз, лягушка прыгнула, но чуть запоздала, и я все же успел ухватить пальцами скользкую заднюю лапку. Однако лягушка не собиралась так легко отказаться от свободы: она истошно завопила и стала отчаянно лягаться другой задней лапкой, царапая мне тыльную сторону ладони. Боль была такая, точно кожу рвали иголками, и на руке появились глубокие царапины, которые быстро краснели, наполняясь кровью. Эта неожиданная воинственность существа, которое я считал совершенно безобидным, так меня ошеломила, что я невольно ослабил хватку. Тут лягушка лягнула меня еще раз, дернулась, мокрая лапка выскользнула из моих пальцев, внизу раздался громкий всплеск, и по воде побежала серебряная зябь. Волосатая лягушка улизнула.

Что я при этом почувствовал — не передать никакими словами. Обширная коллекция красочных и трагических выражений, которую я собрал на своем веку, казалась слишком бледной и бессильной описать такую катастрофу. Я попробовал как-то выразить свои чувства, но куда там... не нашлось у меня для этого достаточно крепких слов. Надо же! Я так долго ждал, я почти поверил тем, кто утверждал, будто волосатой лягушки вообще нет в природе, потом провел столько часов в бесплодных поисках и наконец встретился с ней лицом к лицу, уже просто держал ее в руках — и затем... Затем по своей собственной глупости я ее упустил! Делать нечего, я взобрался на высокий камень — взглянуть, где там мои охотники; в четверти мили от меня мелькали лучи их фонариков, и я закричал им тем протяжным, пронзительным криком, каким переключались между собой охотники. Они отозвались, и я закричал, чтобы они поскорей возвращались ко мне, я нашел ту добычу, которую мы искали. Потом я слез с камня и внимательно осмотрел озерцо. Оно было длиной футов в десять и около пяти в поперечнике (в самом широком месте). Вода вливалась и выливалась из него через два узеньких канала среди камней, и я подумал: стоит только перекрыть эти каналы, и, если лягушка все еще тут, ее вполне можно будет изловить. Подошли задыхающиеся от спешки охотники, я им все рассказал, и они стали щелкать пальцами и стонать с досады, что лягушка все-таки сбежала.

Как бы то ни было, мы принялись за работу и вскоре перекрыли входной и выходной каналы кучками плоских камней. Потом двое охотников влезли на валуны и направили фонарики на воду, чтобы нам было лучше видно. Я измерил глубину озерка длинной рукояткой сачка для бабочек, и выяснилось, что там воды на два фута; дно ручья покрыто крупным песком вперемешку с мелкими камешками, тут лягушка могла отыскать для себя вдоволь укромных уголков. Потом мы с Джейкобом и еще два охотника разделись донага и полезли в ледяную воду — мы с Джейкобом в одном конце озерка, а те двое — в другом. Мы медленно двинулись навстречу друг другу, чтобы сойтись на середине озерка, согнувшись в три погибели и ощупывая пальцами рук и ног каждую расщелину, переворачивая каждый камень. Вскоре мы добрались до середины, и тут у одного охотника вырвался восторженный вопль — он поспешно схватил что-то под водой, причем едва не потерял равновесия и не рухнул ничком в воду.

— Что там у тебя, что? — в волнении закричали мы все разом.

— Вот он, лягушка, — залопотал охотник. — Только он убежать.

— А у тебя что, рука нет? — злобно осведомился Джейкоб, стуча зубами от холода.

— Он бежать прямо к маса, — ответил охотник и ткнул пальцем в мою сторону.

И в этот миг подле моей босой ноги что-то шевельнулось; я наклонился и начал торопливо шарить в воде. Тотчас же и Джейкоб дико вскрикнул и нырнул под воду, а другой охотник отчаянно пытался схватить что-то у себя под ногами. Мои пальцы наткнулись на гладкое, толстое тело, которое поспешно зарывалось в песок у самых моих ног, и я его схватил; в ту же минуту Джейкоб выскочил из воды, он отплевывался, задыхался, но

торжествующе махал рукой, в которой была зажата толстая лягушка. Он зашлепал по воде в мою сторону, спеша показать свою добычу, но, когда он до меня дошел, я уже выпрямился, и у меня тоже в ладонях было что-то живое. Я поскорей глянул — что же я поймал? — и передо мной мелькнули толстые ляжки, обросшие чем-то мохнатым, похожим на волосы; да, я поймал волосатую лягушку! Тут я взглянул на трофей Джейкоба — и его пленница была точно такая же. Мы поздравили друг друга, осторожно уложили обеих лягушек в глубокий мешок из мягкой ткани и надежно его завязали. Только мы успели со всем этим управиться, как охотник, который суетливо шарил у себя под ногами, заорал от радости, выпрямился и взмахнул в воздухе еще одной волосатой лягушкой, которую он ухитрился ухватить за лапку.

Воодушевленные успехом, уже не чувствуя холода, мы снова полезли в воду и старательно обыскали все озеро, но лягушек больше не нашли. Теперь край неба на востоке поглубел, по бледно-голубому брызнуло золото, выше и выше пошли золотисто-изумрудные полосы — и у нас над головой уже мерцали и гасли последние звезды. Ясно, что часы охоты миновали, но я и так был очень доволен: она удалась как нельзя лучше. Африканцы уселись на корточки на сухих камнях, они смеялись, болтали, курили сигареты, которые я им роздал, а я тем временем с грехом пополам вытерся носовым платком и натянул на себя насквозь промокшую от росы одежду. Голова у меня просто раскалывалась — отчасти от пережитого волнения, но главное — от вчерашней пьянки с Фоном. Впрочем, сейчас мне наплевать было и на холодную мокрую одежду, и на головную боль — я торжествовал победу! Мешок с волосатыми лягушками я опустил в воду и держал его там до тех пор, пока он не промок насквозь и не стал холодным; тогда я обернул его мокрой травой и уложил на дно корзинки.

Когда мы добрались до вершины холма, солнце уже поднялось над дальними горами и залило мир хрупким золотистым светом. Высокая трава клонилась под тяжестью росы, тысячи крохотных паучков свили паутину между ее стеблями, их сети отняли у ночи богатый улов росинок — и крохотные капли сверкали в солнечных лучах белым и льдисто-голубым алмазным блеском. У нас из-под ног десятками выскакивали крупные саранчи и пронеслись над травой, шелестя и сверкая ярко-красными крыльями, а над островком бледно-желтых орхидей, что росли под сенью большого камня, громко жужжал хор толстых шмелей металлического голубого цвета, мохнатых, как медведи. Воздух, свежий и прохладный, был до отказа напоен запахами цветов и трав, земли и росы. Охотники, счастливые сознанием того, что ночная охота прошла успешно, затаили песню и неторопливо, гуськом двинулись по тропинке; это была веселая бафутская песенка, и пели они с большим жаром и увлечением; вскоре песню подхватили и домочадцы Фона, а Джейкоб аккомпанировал — выбивал негромкую дробь на жестянке для «добычи». Так мы и маршировали обратно в Бафут, с громкой песней, а Джейкоб выстукивал все более сложные ритмы на своем импровизированном барабане.

Когда мы добрались до дома, мне надо было первым делом приготовить глубокую жестяную банку для моих пленниц; я наполнил ее свежей водой и положил на дно несколько камней, чтобы лягушкам было где укрыться. В эту банку я поместил двух, а третью посадил в большую стеклянную банку из-под варенья. Во время завтрака я поставил эту банку на стол перед собой и в промежутке между двумя глотками любовался моей пленницей, не сводил с нее влюбленных глаз.

Для лягушечьего племени моя волосатая лягушка оказалась настоящим великаном: если она хорошенько подберет под себя лапки, то как раз поместится на блюде и займет его почти целиком. Голова у нее широкая и довольно плоская, глаза очень выпученные, а рот необыкновенной ширины. Сверху лягушка темно-шоколадного цвета, а местами испещрена расплывчатыми коричневыми крапинками еще темнее, почти черными; брюшко белое, в самом низу чуть подкрашено розовым, задние лапки с внутренней стороны тоже розоватые, Глаза очень большие, угольно-черные с тонким узором золотых точек. Самая удивительная особенность этой лягушки — волосы, расположены они по бокам ее тела и на бедрах; тут

волосы черные, густые, длиной с четверть дюйма. Это украшение в сущности вовсе не волосы; оно состоит из удлинённых выростов кожи, которые, если присмотреться поближе, напоминают щупальца морского анемона. Но если не слишком тщательно приглядываться, очень легко поверить, будто задняя половина тела лягушки покрыта густым слоем волос. В воде волоски встают дыбом и плывут, как водоросли, тут-то их видно лучше всего; когда же лягушка на суше, они опадают и кажутся спутанной массой каких-то студенистых нитей.

С тех пор как впервые найдена была волосатая лягушка, среди ученых не затихали споры о том, для чего все-таки служит это необычное косматое украшение, но теперь, кажется, исследователи приходят к единому мнению: волосы помогают дыханию. Все лягушки дышат в большей или меньшей степени кожей; иными словами, кожа вбирает в себя кислород из воды. Таким образом, лягушка обладает, так сказать, двумя дыхательными аппаратами: кожей и легкими. И потому, когда лягушка дышит кожей, она может довольно долго оставаться под водой. У волосатой же лягушки множество тончайших кожных отростков значительно увеличивает поверхность кожи и этим очень помогает дыханию. Сначала ученые сильно сомневались в таком предназначении этих волосков, ибо они существуют только у самцов; у самок этого вида кожа такая же гладкая, как у всех прочих лягушек. А потому могло показаться, что волосы эти служат только украшением и не приносят никакой пользы — ведь просто смешно предполагать, будто у самца столь короткое дыхание, что без помощи волосков ему не обойтись, а безволосой самке и так воздуха хватает с избытком. Однако столь странное противоречие вскоре объяснилось: оказывается, самцы проводят всю свою жизнь в воде, тогда как самки большую часть года проводят на суше и спускаются в воду только в брачную пору. Итак, секрет открылся: самка почти все время на суше и дышит легкими; самцу же в его подводном жилище волоски приходится очень кстати — он почти не вылезает на берег.

Есть у волосатой лягушки и еще одна любопытная особенность: мясистые пальцы ее задних лапок снабжены длинными, белыми, полупрозрачными когтями; когти эти лягушка при желании выпускает, а когда в них нет более нужды втягивает в нечто вроде ножен в пальцах, как кошка. Я на собственном опыте убедился, что когти очень острые и служат лягушке надежным оружием — об этом красноречиво свидетельствуют царапины у меня на руке. Думаю, что у лягушковых когтей двойное назначение: во-первых, они средство защиты, а во-вторых, ими удобно цепляться за скользкие камни в быстрых ручьях, где обитают эти земноводные. Всякий раз, как мы ловили волосатых лягушек, они отчаянно лягались задними лапками и выпускали когти из ножен; одновременно лягушки издавали странные, пронзительные крики — нечто среднее между хрюканьем довольной свиньи и страдальческим писком пойманной мыши, причем крик этот на удивление громкий и, когда его не ожидаешь, может порядком напугать.

Мои волосатые лягушки очень удобно устроились в своей большой жестянке, а после многочисленных ночных охот я добыл еще нескольких: теперь у меня их было семь и все самцы, с роскошной растительностью на спине. Не один месяц я шарил повсюду, пытаюсь найти для них самок, но безуспешно. И вот однажды ко мне на веранду явилась очень милая старушка, лет девяноста пяти, с двумя калексами: в одном сидела пара землероек, а в другом — крупная самка волосатой лягушки. Самка эта осталась единственной, другой мне так и не удалось раздобыть, и, естественно, я обращался с ней особенно бережно и заботливо.

С виду лягушка мало отличалась от самца, разве что кожа у нее была посуше и пожелтее да окраска ярче: кирпично-красная с шоколадными крапинками. Она отлично себя чувствовала среди семерых кавалеров и даже перешла за компанию на подводный образ жизни. Целыми днями все лягушки лежали в воде, почти совсем в ней скрываясь, готовы нырнуть на дно жестянки, едва кто-нибудь подойдет близко; однако по ночам они набирались храбрости, влезали на камни, которые я нарочно для этого им положил, и сидели там, разевая рот и глядя друг на друга без всякого выражения на физиономии. Все время, пока мы были в Африке, и на пути в Англию (а это был долгий путь!) лягушки упорно

отказывались от еды, хоть я и соблазнял их самыми изысканными лакомствами. Но все они были необычайно толстые, а потому их долгий пост меня не слишком волновал — ведь большинство пресмыкающихся и земноводных могут подолгу обходиться без пищи и ничуть от этого не страдают.

Когда настало время уезжать из Бафута и двинуться в наш главный лагерь, а оттуда на побережье, я устроил лягушек в неглубоком деревянном ящике, который был выстлан мокрыми банановыми листьями. Ящик нельзя было сделать глубоким: испугавшись чего-нибудь, лягушки стали бы высоко подскакивать и расшибли бы свои нежные носы о деревянную крышку; в мелком же ящике такая опасность им не грозила. По дороге из Бафута лягушки доставили мне немало хлопот и несколько очень тревожных минут: высоко в горах климат прохладный, приятный, но, когда спускаешься в лесистые равнины, ощущение такое, словно попадаешь в турецкие бани, и лягушкам эта перемена пришлось совсем не по вкусу.

На одном из привалов на пути вниз я открыл ящик и ужаснулся — все мои волосатые лягушки распластались на дне, вялые и обмякшие, без признаков жизни. Я как безумный кинулся к ближайшей лощине и погрузил ящик в ручей. Прохладная вода постепенно оживила четырех лягушек, а трем было так плохо, что их уже не удалось спасти: вскоре они испустили дух. Итак, у меня остались три самца и самка. И всю остальную часть пути мне приходилось через каждые две-три мили останавливать грузовик и окунать ящик с лягушками в ручей, чтобы оживить его обитателей; только таким способом я ухитрился доставить их в наш главный лагерь живыми. Но, когда мы туда прибыли, мне пришлось ломать голову над новой неожиданной задачей: волосатые лягушки не могли высоко подскакивать в ящике и потому не разбили себе носы, но зато они пытались зарываться в углы ящика и этим умудрились содрать себе всю кожу с носов и верхних губ. Это была настоящая беда: если у лягушки повреждена нежная кожа на носу, на этом месте очень скоро появляется опасная болячка, она разъедает все вокруг, как злокачественная язва, и порой разрушает весь нос и верхнюю губу. Пришлось поскорей сколотить новый ящик для моих волосатых пленниц; этот тоже был неглубок, но внутри я весь его — и дно, и верх, и стенки — обил мягкой тканью, под которую еще подложил ваты. Получилось нечто вроде маленькой палаты для буйных помешанных. Тут мои волосатые лягушки почувствовали себя как дома: теперь они могли сколько угодно прыгать вверх или зарываться на дно ящика — о мягкую прослойку нельзя было ни разбиться, ни содрать кожу. Я держал их в режиме меньшей влажности, чем обычно, и таким способом мне удалось залечить их исцарапанные носы, но все-таки на коже остались чуть заметные белые шрамы.

Когда мы наконец покинули главный лагерь и отправились к побережью, где мне предстояло сесть на пароход, путешествие это оказалось сущим кошмаром. Жара стояла невообразимая, и ящик с волосатыми лягушками очень быстро высыхал. Я пробовал держать его в ведре с водой, но дороги там настолько плохи, что не успевали мы проехать и полмили, как вода почти вся расплескивалась. Оставался единственный выход: примерно каждые полчаса останавливать грузовик у какого-нибудь ручья и хорошенько поливать ящик. Однако, несмотря на все наши старания, еще один самец погиб и на борт парохода поднялись только три волосатые лягушки. Прохладный морской ветерок вскоре оживил их, и они как будто воспрянули духом, хоть и очень исхудали из-за своего добровольного поста. Постились они до самой Англии и еще некоторое время, когда их уже поместили в отделение пресмыкающихся в лондонском зоопарке. Там куратор, как и я перед тем, пытался соблазнить их всевозможными лакомствами, но они все еще упорно отказывались есть. Наконец однажды он решил испробовать еще одно, последнее средство: сунул им в клетку белых мышей — вернее, розовых новорожденных мышат, и, к его удивлению, лягушки накинулись на них и мигом сожрали, точно новорожденные мышата всегда были их излюбленным блюдом.

С того дня они питались одними только мелкими зверюшками, отказываясь от всякой истинно лягушачьей пищи вроде кузнечиков и мучных червей. Конечно, нельзя себе представить, что на воле они питаются исключительно мышатами, скорее мышата

напоминают им привычную пищу, но какая это пища — остается неразгаданной тайной по сей день.

ГЛАВА VI. Змеи и шиллинги

Речь Фона на празднике сбора травы произвела немедленное и удивительное действие. На другой день, пытаясь избавиться от головной боли, которой наградили меня выпивка у Фона и последовавшая за ней охота на лягушек, я прилегал часа на два и немного поспал. Потом проснулся и решил выпить чаю — пожалуй, это меня подбодрит: я кое-как выбрался из кровати и поплелся к двери, намереваясь крикнуть с веранды вниз, на кухню, чтобы мне принесли чай. Я открыл дверь и замер в недоумении: уж не сон ли это? Веранда была чуть не сплошь заставлена самыми разнообразными мешками, корзинами из пальмовых листьев и калебасами, и все они тихонько подрагивали и тряслись: вдобавок к стене прислонились штук пять длинных бамбуковых шестов, а на концах у них извивались привязанные веревками разъяренные змеи. В эту минуту моя веранда больше всего напоминала туземный базар. На верхней ступеньке лестницы сидел на корточках Джейкоб и неодобрительно глядел на меня.

— Маса проснуться! — мрачно сказал он. — Зачем маса проснуться?

— Что тут такое? — спросил я, обведя рукой сборище мешков и корзинок.

— Добыча. — был краткий ответ.

Я осмотрел шесты — надежно ли привязаны змеи.

— Кто же это принес столько добычи? — спросил я, несколько ошарашенный таким изобилием.

— Вот тот люди принес, — коротко и ясно ответил Джейкоб, махнув рукой назад, на лестницу.

Я подошел к тому месту, где он сидел, и увидел, что все семьдесят пять ступенек, ведущих к моей вилле, и немалая часть дороги за ней забиты разношерстной толпой бафутян обоюбого пола и всех возрастов. Их было добрых сотни полторы, и все они глядели на меня не шевелясь, на удивление тихие и молчаливые. Как правило, довольно собраться вместе пяти-шести африканцам — и они поднимут больше шума, чем любой другой народ на земле, а тут могло показаться, будто вся эта огромная толпа состоит из одних только глухонемых, до того они были тихие. От этой противоестественной тишины мне даже стало жутковато.

— Что это с ними стряслось? — спросил я Джейкоба.

— Сэр?

— Почему они все молчат?

— А-а! — Джейкоб наконец понял, чего я от него хочу. — Я им говорить, маса спать.

Это был первый из множества случаев, когда я убедился, насколько учтивы и деликатны люди Бафута. Оказывается, они ждали здесь, на солнцепеке почти два часа, сдерживая свою природную, бьющую через край живость, чтобы не потревожить мой сон.

— Почему ты не разбудил меня раньше? — упрекнул я Джейкоба. — Разве ты не знаешь, что добыче вредно так долго ждать?

— Да, сэр. Простите, сэр.

— Ну ладно, давай посмотрим, что они принесли.

Я взял ближайшую корзинку и заглянул в нее: тут было пять мышей со светлой рыжеватой шерстью, белопуzych и длиннохвостых. Я передал корзинку Джейкобу, он отнес ее к верхней ступеньке лестницы и поднял высоко над головой.

— Кто принести этот добыча? — закричал он.

— Это я принести, — пронзительно отозвалась какая-то старуха. Она с трудом протиснулась сквозь толпу, поднялась на веранду, яростно торговалась со мной минут пять, потом зажала в кулаке деньги и стала пробиваться обратно вниз.

В следующей корзинке сидели две прелестные маленькие совы. Перья у них были пятнистые — серые и черные, а глаза обведены совершенно белыми кругами с тонким

черным ободком — казалось, на них большие роговые очки. При виде меня они защелкали клювами и опустили длинные ресницы над свирепыми золотистыми глазами: я попытался вынуть их из корзинки, но тут они с громкими криками опрокинулись на спину и выставили вперед огромные когти. В сущности это были не совы, а совята, кое-где с них еще не сошел детский пушок, напоминавший вату, так что казалось, обе они попали в обильный снегопад. Я всю жизнь не мог оставаться равнодушным при виде совы, а эти две малютки были просто неотразимы. Это были белолицые сплюшки, мне еще никогда такие не попадались, и, конечно же, я не мог их не купить.

Следующим моим приобретением была белка, из-за которой поднялся ужасный переполох. Она сидела в сумке из пальмовых листьев, и едва я туда заглянул, как белка пулей выскочила наружу, укусила меня за руку и поскакала прочь по веранде. Джейкоб кинулся в погоню и совсем было уже догнал беглянку, но вдруг белка метнулась в сторону и помчалась вниз по лестнице, искусно лавируя среди десятков пар черных ног. Поднялась невообразимая суматоха; те, кто стоял на верхней ступеньке, подпрыгнули, почувствовав зверька у себя под ногами, потеряли равновесие и опрокинулись на тех, кто стоял ниже. Те в свою очередь повалились на других, которые стояли еще ниже, а уж те покатались вниз, как трава под косой. За считанные секунды вся лестница покрылась мешаниной шевелящихся тел, то там, то сям мелькали ноги и руки, высываясь под самыми невероятными углами.

Я был уверен, что эта людская лавина раздавит злосчастную белку в лепешку, но, к моему удивлению, она появилась в самом низу лестницы, судя по всему, целая и невредимая, раза два взмахнула хвостом и пребойкой рысцей пустилась вдоль по дороге, оставив позади себя картину, которая напоминала побоище на лестнице в Одессе из фильма «Броненосец „Потемкин“», только в негритянском варианте. А я на верхней ступеньке исходил бессильной злостью и тщетно пытался пробиться сквозь неразбериху черных тел — ведь белка была редкостная, нельзя же было ее упустить! На середине лестницы кто-то схватил меня за щиколотку, и я рухнул на большое, мягкое тело: судя по некоторым подробностям, которые мне удалось ощутить, тело было женское. С немалым трудом я поднялся на ноги, в отчаянии взглянул вниз, на дорогу, и — о радость! — по ней приближались десятка два молодых бафутян. Они заметили белку и остановились как вкопанные, а белка, увидев их, села и принялась подозрительно нюхать воздух.

— Эй! — завопил я. — Вы, там, на дороге... Поймайте эту белку!

Молодые люди положили на землю свои узелки и решительно двинулись на белку, но та только глянула на них, повернулась и пустилась наутек. Они ринулись вдогонку, и каждый, видно, решил, что именно он должен схватить беглянку. Белка удирала во всю прыть, но где ей было тягаться с такими длинноногими преследователями! Они бежали тесной кучкой, плечо в плечо, лица их были угрюмы и решительны. Скоро они поравнялись с белкой, и тут, к моему ужасу, все разом кинулись на мою драгоценную добычу — и снова белка исчезла под колышущейся грудой черных тел. «Ну, уж теперь-то беднягу непременно раздавят», — подумал я; однако белка оказалась необыкновенно живучей. Когда «куча мала» на дороге немного разобралась, один паренек встал и высоко поднял за шиворот громко негодующую, задыхающуюся белку.

— Маса! — закричал он и расплылся в улыбке. — Я его поймать.

Я кинул вниз мешок, чтобы он сунул туда зверька; потом все, кто стоял на лестнице, стали передавать мешок по рукам, пока он наконец не попал ко мне. Я поспешил засадить пленницу в клетку, поскорей ее осмотрел и убедился, что она ничуть не пострадала, вот только настроение у нее оказалось из рук вон плохое. Это была черноухая белка, пожалуй, самая красивая из всех камерунских белок. Спинка у нее темно-оливкового цвета, а брюшко яркое, желтовато-оранжевое. По бокам от плеча до зада тянется цепочка белых пятнышек, а уши оторочены кромкой черной шерсти, и вид у зверька такой, точно он никогда не моет за ушами. Но, конечно, самое красивое в этом пушистом тельце — хвост, длинный и необыкновенно пышный; сверху он зеленовато-коричневый, полосатый, а с изнанки — ярчайшего оранжевого цвета, прямо огненный. Когда белка очутилась в клетке, она раза два

махнула на меня своим ослепительным хвостом, а затем уселась и занялась неотложным делом: стала уплетать плод манго, который я для нее приготовил. Я с удовольствием за ней наблюдал и думал: какое счастье, что она уцелела во всей это кутерьме, и как хорошо, что я ее все-таки заполучил! Если бы я тогда знал, сколько еще мне предстоит с ней хлопот, я, наверно, радовался бы куда меньше.

Потом я снова занялся всевозможными мешками и корзинками, которыми была завалена веранда, и взял в руки первый попавшийся, довольно большой калебас. Как обычно, горлышко у него было заткнуто плотно свернутым пучком зеленых листьев; я вытащил затычку и заглянул внутрь, но калебас был слишком велик, и я ничего не разглядел в его темной глубине. Я отнес его к верхушке лестницы и высоко поднял.

— Где тот человек, который принес этот калебас? — спросил я.

— Я тут, сэр, я тут! — раздался крик откуда-то с середины лестницы.

Меня всегда поражало, что африканцы умудряются различать свои калебасы среди сотен других. Я никак не мог уловить между ними разницы, разве только в размерах, но каждый африканец мгновенно узнает свой сосуд и ни с каким другим его не спутает.

— А какая там у тебя добыча? — спросил я, держа калебас за веревку, обвязанную вокруг горлышка, и небрежно им помахивая.

— Змея, сэр, — был ответ, и я поспешно сунул зеленую затычку обратно в горлышко.

— Какая же змея, друг мой?

— Гера, сэр.

Я сверился со своим списком местных названий и обнаружил, что это означает «зеленая древесная гадюка». Эти красивые змеи широко распространены в Бафуте, и у меня уже набралось несколько штук. Длинной они дюймов по восемнадцать, расцветка у них примечательная: спина необычайно яркая, зеленая, как трава, живот канареечно-желтый, а по бокам широкие белые полосы. Я понес калебас туда, где у меня стоял неглубокий открытый ящик, затянутый сверху марлей, — тут жили остальные гадюки, — чтобы посадить к ним туда и «новенькую». Надо сказать, что вытряхнуть змею из калебаса в клетку — дело несложное, если, конечно, соблюдать два-три простейших правила. Первое: убедись, что все остальные обитатели клетки находятся далеко от дверцы. Это я сделал. Второе: прежде чем вытряхивать змею из калебаса, выясни, одна ли она там. Вот этого-то я и не сделал.

Я открыл дверцу клетки, вытащил затычку и стал осторожно встряхивать калебас. Иногда вытряхивать змею из калебаса приходится очень долго: бывает, что она свернется там в клубок и прижмется изнутри к стенкам сосуда, и тогда сдвинуть ее с места очень трудно. За спиной у меня стоял Джейкоб и тяжело дышал прямо мне в затылок, а за ним плотной стеной теснились африканцы и, раскрыв рот, следили за каждым моим движением. Я легонько потрянул калебас — ничего. Я потряс посильнее — опять ничего. В жизни своей не встречал я гадюки, которая с таким упорством цеплялась бы за свою темницу. Наконец я разозлился, потрянул калебас изо всей силы, и он тут же развалился надвое. На клетку с устрашающим стуком вывалился спутанный клубок — с полдюжины больших, сильных и разъяренных змей.

Они сплелись в такой тугой, огромный узел, что не провалились внутрь клетки сквозь отверстие сверху, а застряли, и закрыть дверцу я никак не мог. Потом с необычайной грацией, которую я не успел оценить по достоинству (мне было не до того), они расплелись и решительно заскользили по краю дверцы на пол. Здесь гадюки выстроились полукругом, с точностью солдат, которым отдан приказ наступать, и двинулись на нас. Джейкоб и бафутяне, что теснились за его спиной, исчезли в мгновение ока, словно по мановению волшебного жезла. И трудно было их за это винить — ведь все они были босиком. Но и моя одежда никак не годилась для того, чтобы любезничать со стаей гадюк, — на мне были только шорты да сандалии. И вдобавок моим единственным оружием оказались две половинки сломанного калебаса — не слишком удобная снасть для обращения со змеями. Поэтому я оставил в их распоряжении веранду и кинулся в спальню. Там я отыскал палку и осторожно вернулся на веранду. Теперь змеи расплзлись во все стороны и загнать их

поодиночке а угол, прижать каждую к полу палкой и подобрать не составляло уже никакого труда. Одну за другой я сбросил их в клетку и со вздохом облегчения захлопнул и запер дверцу. Бафутяне вновь появились на веранде так же внезапно, как исчезли: все они болтали, смеялись и щелкали пальцами, рассказывая друг другу, какая страшная опасность им грозила. Я холодно посмотрел на того, кто принес мне змей.

— Ты! — сказал я. — Почему ты не сказал мне, что в этом калембасе так много змей?

— Ух ! — изумился он. — Я все сказать маса, я сказать там внутри змея.

— Змея, да. Одна змея. Но ты не сказал, что их там шесть штук.

— Я сказать маса, там змея внутри, — с негодованием повторил он.

— Я ведь спросил, какую добычу ты принес, — терпеливо объяснял я. — И ты сказал «змея». Ты не сказал «шесть змей». Откуда же мне знать, сколько их там? Ты, верно, думаешь, я колдун — как гляну на калембас, так и увижу насквозь, сколько ты поймал змей.

— Глупый человек, — вставил свое слово Джейкоб. — Вот одно время змея укусит маса и маса умереть. И что ты тогда делать, а?

Тут я накинудся на Джейкоба.

— А ведь и ты блистал своим отсутствием, насколько я заметил, о благородный рыцарь!

— Да, сэ, — сияя улыбкой, ответил Джейкоб.

Только совсем уже на ночь глядя я уплатил последнему охотнику и остался наконец с невообразимо пестрым сборищем всевозможных животных на руках. До трех часов ночи я рассаживал их по клеткам, но и тогда еще пять больших крыс остались бездомными, а у меня уже не было в запасе ни одного ящика, годного для клетки. Волей-неволей пришлось выпустить их прямо на пол у меня в спальне, и тут они провели всю ночь, пытаясь перегрызть ножку стола.

Наутро я встал, вычистил клетки, накормил мой, теперь уже весьма солидный, зверинец и подумал, что в этот день, наверно, новых питомцев для него не получу, но ошибся. Бафутяне, видно, вложили всю душу в задачу, которую поставил перед ними Фон. — доставить мне как можно больше самого разного зверья: к десяти часам утра дорога и все семьдесят пять ступенек лестницы были черным-черны, столько собралось народу: делать нечего, я был вынужден опять покупать всякую живность, К часу дня выяснилось, что приток животных еще далеко не иссяк, а мои запасы дерева и ящиков для клеток исчерпаны: пришлось нанять целую ораву мальчишек, я поручил им бегать по Бафуту и скупать всякую дощечку или ящик, какие попадутся на глаза. Платить при этом пришлось неслыханные деньги — у африканцев любой сосуд, будь то бутылка, старая жестянка или ящик, ценится чуть ли не на вес золота.

К четырем часам дня я и мои помощники вконец выбились из сил, и нас искусило в самых разных местах такое множество всяких зверей и зверюшек, что мы уже перестали замечать новые укусы. Моя вилла была битком набита всевозможными тварями, они пищали и чирикали, стучали и гремели в своих калембасах. корзинках и мешках, а мы тем временем с лихорадочной поспешностью сколачивали для них клетки. Словом, это был один из тех дней, которые лучше забыть. К полуночи мы до того измучились, что едва держались на ногах, глаза у нас слипались, а предстояло сколотить еще с десятков клеток: большой чайник чаю, обильно приправленного виски, немного нас подхлестнул — мы с лихорадочным воодушевлением продолжали свое дело, и наконец в половине третьего ночи забит был последний гвоздь и водворен на место последний зверек. Я заполз в постель и с ужасом вспомнил, что наутро мне надо встать в шесть часов, иначе я не успею вычистить клетки и накормить зверей, прежде чем на меня нахлынут новые.

Следующий день был, если это возможно, пожалуй, даже трудней предыдущего, потому что бафутяне начали приходить, когда я еще не успел навести порядок в своем зверинце. Представьте себе такую картину: я стараюсь поскорей вычистить клетки и накормить несколько десятков животных, а еще десятка три в это время задыхаются без воздуха в каком-нибудь грязном мешке или калембасе и требуют внимания — поневоле

станешь волноваться! Я искоса поглядывал на все растущую кучу калebasов и корзинок на веранде, и мне чудилось, что количество клеток, которые еще надо вычистить, и животных, которых надо накормить, все растет... Под конец я понял: вот что, должно быть, испытал Геркулес, когда впервые увидел авгиевы конюшни!

Покончив с работой, я не стал сразу же покупать новых животных, а сперва вышел на верхнюю ступеньку лестницы и обратился с речью ко всем собравшимся бафутянам. За последние два дня мне принесли очень много добычи, самого разного сложения, размера и обличья, сказал я. Это доказывает, что бафутяне, безусловно, лучшие из всех охотников, с какими мне доводилось встречаться, и я им сердечно благодарен. Однако, продолжал я, всему есть предел — они, наверно, и сами понимают, что я не могу без конца покупать у них добычу, мне просто уже некуда девать. Поэтому я буду рад, если они воздержатся от охоты, скажем, дня три, а я пока сколочу еще клетки и добуду пищи для животных. Какой смысл покупать животных, заметил я, если они погибнут оттого, что их негде разместить: это будет пустая трата денег. Надо сказать, что африканцы — люди очень деловые, и при этих моих словах по толпе словно прошла рябь: все закивали головами и послышалось дружное «А-а-а-а!». Теперь, когда они все поняли и дадут мне, надо надеяться, хотя бы трехдневную передышку, я купил всех животных, которых мне принесли, и принялся сколачивать клетки.

В четыре часа я кончил с клетками, и можно было передохнуть, выпить чашку чаю. Я облокотился на перила веранды, и тут дверь под аркой в красной кирпичной стене распахнулась, и появился Фон. Широкими шагами он направился ко мне через весь громадный двор, одежды его развевались и шелестели на ходу. Фон озабоченно хмурился и что-то бормотал себе под нос. Несомненно, он шел ко мне с визитом, и я спустился по лестнице ему навстречу.

— Я тебя увидел, друг мой, — сказал я учтиво.

— Друг мой! — воскликнул Фон, завладевая моей рукой и тревожно вглядываясь мне в лицо. — Один человек сказать мне, что ты больше не покупать добыча. Это так?

— Нет, не так, — ответил я.

— А! Хорошо, хорошо — сказал он с облегчением. — Бывает, я боюсь, вдруг ты купить уже довольно добыча и скоро оставлять меня.

— Нет, нет, — возразил я и объяснил: — Люди в Бафуте очень хорошие охотники, и они принесли мне столько добычи, что у меня не хватает для них клеток. Вот я и сказал всем, пускай три дня подождут охотиться, а я за это время сколочу клетки для новой добычи.

— Ага, я понимать! — сказал Фон, приветливо улыбаясь. — А я подумать, ты скоро время уехать от нас.

— Нет, я пока не собираюсь уезжать из Бафута.

Фон подозрительно оглянулся вокруг — нет ли поблизости посторонних, потом ласково обхватил меня одной рукой за плечи и потянул на дорогу.

— Друг мой, — заговорил он хриплым шепотом. — Я тебе найти добыча. Да, отличный добыча, ты такой никогда не получить.

— Какая же это добыча? — спросил я с любопытством.

— Такой добыча тебе очень понравится, — весьма убедительно пояснил Фон. — Сейчас мы пойти и его поймать, а?

— А ты еще такой не ловил?

— Нет, друг мой, но я знать, в какой сторона он прятаться,

— Ладно. Пойдем поищем ее сейчас же, да?

Фон нетерпеливо повлек меня через весь двор, потом через лабиринт узких проходов, и наконец мы очутились перед маленькой хижинкой.

— Ты меня здесь подождать мало время, друг мой, я скоро прийти, — сказал мой спутник и юркнул во мрак хижины.

Я ждал снаружи и терялся в догадках — куда это он пошел и какую добычу для меня придумал. Вид у него был такой таинственный, что любопытство мое разгорелось.

Вскоре он появился вновь — и я не сразу его узнал. Фон Бафута сбросил все свои одежды, даже шапочку и сандалии, на нем не было ничего, кроме маленькой безукоризненно белой набедренной повязки. В руке он держал длинное тонкое копьё. Его стройное мускулистое тело лоснилось от масла, ноги были босы. Фон подошел ко мне, вертя копьём, как заправский охотник, и расплылся от удовольствия, когда увидел, как я удивлен.

— Ты себе получить еще один охотник, — посмеиваясь, объяснил он. — Теперь можно меня называть тоже Гончая Бафута, разве нет?

— Я уверен, этот охотник будет искусней всех, — сказал я и улыбнулся ему,

— Я хорошо умею охотиться, — кивнул Фон. — Может, вдруг мой люди думать, я уже много старый, не гоюсь идти на охота. Только, друг мой, если человек иметь верный глаз, верный нос и верный душа, он никогда не стать чересчур много старый, чтобы идти на охота, разве не так?

— Ты говоришь верно, друг мой. — подтвердил я.

Фон вывел меня из усадьбы, и мы прошли с полмили по дороге, потом свернули на тропку среди маисовых полей. Фон шагал быстро, вертел копьём и тихонько мурлыкал про себя какую-то песенку; временами он оборачивался ко мне, и лицо его освещала веселая, озорная, совсем мальчишеская улыбка. Вскоре мы расстались с полями, прошли через рощицу пальм мимбо, темную, таинственную, полную шороха листьев, и стали взбираться по золотистому склону холма. Когда мы достигли вершины. Фон остановился, с размаху воткнул копьё в землю, скрестил руки на груди и оглядел окрестности. Я остановился немного раньше, не дойдя до вершины — мне попались какие-то улитки с очень нежной окраской: когда же я поднялся к Фону, тот стоял недвижно и глядел вниз как замороженный, не замечая ничего вокруг. Наконец он глубоко вздохнул, обернулся ко мне и с улыбкой широко раскинул руки.

— Вот мой страна. — сказал он. — Очень красивый, этот страна.

Я кивнул в знак согласия, и мы несколько минут молча любовались открывшейся ширью. Внизу лежала мозаика небольших полей — зеленых, серебристых, светло-коричневых; то тут, то там виднелись рощицы пальм мимбо да изредка мелькали ржаво-красные клочки свежевскопанной земли. Этот уголок, над которым потрудились человеческие руки, был точно яркий пестрый платок — его разостлали здесь и позабыли. а со всех сторон волнами застывшего океана высятся горы, их гребни позолотило, а равнины осенило тенью заходящее солнце. Фон медленно оглядывал все вокруг, и лицо его выражало какую-то странную смесь нежности и совсем детской радости. Он опять вздохнул — глубоко, с истинным удовлетворением.

— Красиво! — пробормотал он. Потом вытащил свое копьё из земли и повел меня вниз, в новую равнину, продолжая тихонько напевать про себя.

Неглубокую, плоскую долину сплошь заплотили низкорослые чахлые деревца

— иные не выше десяти футов. Многих было не разглядеть — окутанные широчайшими мантиями из вьюнка, они стояли, точно приземистые башенки трепещущих листьев и кремowych, чуть желтоватых, как слоновою кость, цветков. Долина будто впитала в себя солнечный свет за весь длинный день, и теплый воздух здесь был напоен сладким ароматом цветов и листьев. Над цветами реяли и сонно прерывисто жужжали тысячи пчел: какая-то крохотная пичужка звонко распевала свою веселую песенку и вдруг умолкла. Теперь стало тихо, только раздавалось смутное жужжанье пчел, когда они вились вокруг деревьев или вперевалочку забирались в бархатную сердцевину вьюнка. Фон с минуту оглядывал деревья, потом осторожно двинулся по траве куда-то на более удобный наблюдательный пункт — отсюда за густой сетью вьюнка можно было все-таки рассмотреть и сами деревья.

— Ну вот, здесь мы видеть добыча, — прошептал он и указал на деревья. — Мы теперь сидеть и ждать мало время.

Он присел на корточки и замер, отдыхая, я уселся подле него: поначалу мое внимание одинаково привлекали и лес, и мой спутник. Но в деревьях не заметно было ни одного

живого существа, и я стал глядеть на Фона. Он сидел неподвижно, сжимал в своих огромных ладонях копьё, один конец которого упирался в землю и на лице его читалось нетерпеливое ожидание — так ребенок в театре ждет, когда же поднимется занавес. Когда он вышел ко мне из той маленькой темной хижины в Бафуте, он, кажется, оставил там не только свою одежду и королевские украшения, но и свою королевскую осанку, без которой я прежде просто не мог его себе представить. Здесь же на корточках подле меня в этой тихой, теплой долине, с копьём в руках сидел всего лишь еще один охотник: его блестящие темные глаза неотступно следили за деревьями, подстерегая зверя, который вот-вот оттуда покажется. Но чем больше я на него глядел, тем яснее понимал: нет, это не просто еще один охотник; чем-то он отличался от остальных, но чем — это я понял не сразу. Потом сообразил: всякий обычный охотник сидел бы точно так же, терпеливо ожидая зверя, но видно было бы, что ему скучновато, — ведь он уже столько раз вот так сидел, охота ему не в диковинку! А у Фона блестели глаза, большой рот чуть тронула легкая улыбка — конечно же, он от души всем этим наслаждался. И я подумал: наверно, уже не раз монарху надоедали его почтительные советники и подобострастные подданные, в пышном одеянии ему вдруг становилось жарко и тяжело, и он чувствовал, что его остроносые туфли безжалостно жмут и стесняют ногу. И тогда его, должно быть, неодолимо тянуло ощутить под босыми ногами мягкую красную землю, подставить ветру обнаженное тело — вот тогда он тайком уходил в маленькую хижинку, облачался в костюм охотника и отправлялся в горы, помахивая копьём и напевая песенку, а на вершинах останавливался — и стоял, и любовался прекрасной страной, которой он управляет. Я вспомнил его недавние слова: «Если у человека верный глаз, верный нос и верная душа, он никогда не будет слишком стар, чтобы пойти на охоту». Да, подумал я, конечно же. Фон тоже из этого десятка. Но тут Фон прервал мои размышления о складе его характера: он наклонился ко мне, схватил за руку и указал длинным пальцем на деревья.

— Вот они приходил, — прошептал он и весь расплылся в улыбке.

Я посмотрел, куда он показывает, и сперва не увидел ничего, кроме все той же спутанной сетки ветвей. А потом там что-то шевельнулось, и я увидел зверька, которого мы ждали.

Он скользил в путанице ветвей с мягкой, воздушной грацией, точно пушинка. Когда он приблизился к нам, оказалось, что именно такими я рисовал в воображении эльфов: тонкая зеленовато-серая шерстка, длинный, гибкий и пушистый хвост. Розовые руки великоваты не по росту, пальцы необычайно длинные и худые. Уши очень большие и кажутся полупрозрачными, такая на них тонкая кожа, уши эти словно живут своей отдельной жизнью — то складываются веером и тесно прижимаются к голове, то становятся торчком, наостренные, прямые, как бледные водяные лилии. На половину лица — громадные темные глаза, каким позавидовала бы даже самая самонадеянная сова. Больше того, зверек этот умеет, в точности как сова, поворачивать голову назад и глядеть на собственную спину. Он пробежал до самого конца тонкой веточки (она почти не прогнулась под его тяжестью) и уселся там, вцепившись в кору длинными, гибкими пальцами; он озирался по сторонам огромными глазницами и тихонько что-то щебетал. Я знал, что это — галаго, маленький лемур, но скорее можно было поверить, будто существо это соскочило со страниц волшебной сказки для детей.

Галаго сидел на ветке и задумчиво щебетал, наверно, с минуту, и тут произошло нечто удивительное. Вдруг — о чудо! — на всех деревьях их оказалось полным-полно. Тут были галаго всех размеров и возрастов, от совсем крохотных, чуть побольше грецкого ореха, и до взрослых особей, которые с легкостью могли бы уместиться в обыкновенном стакане. Они скакали с ветки на ветку, хватаясь за листья и сучки не по росту большими худыми руками, что-то мягко щебетали друг дружке и глядели на белый свет распахнутыми невинными глазами херувимов. Малютки, в которых, кажется, всего только и было, что круглые глазки, держались поближе к родителям; порой они садились на задние лапки и поднимали крохотные розовые ручки с растопыренными пальцами, точно ужасались, разглядев сквозь

листву, сколь порочен окружающий мир.

Я видел, как один такой детеныш вдруг обнаружил на той же ветке, где сидел сам, большую мясистую саранчу. Дело шло к вечеру, насекомое уже отяжелело от дремоты и не сразу заметило опасность. И не успело оно двинуться с места, как крохотный галаго скользнул по ветке и крепко ухватил саранчу поперек брюшка. Саранча мгновенно проснулась и решила, что пора что-то предпринять. Это было большое насекомое, по величине оно почти не уступало лемурунку; кроме того, задние ноги у саранчи длинные и сильные — и она стала отчаянно лягаться. От этой борьбы просто нельзя было оторвать глаз: галаго изо всех силенок стиснул саранчу длинными пальцами и пытался ее укусить, но при каждой новой попытке саранча яростно ударяла его задними ногами — и противник терял равновесие, сваливался с ветки и повисал на ней, уцепившись лапками. Так повторялось несколько раз, и я подумал, что у галаго, должно быть, липкие подошвы. И даже вися вниз головой и выдерживая яростные удары в живот, галаго ухитрялся смотреть круглыми глазищами все с тем же выражением детской наивности.

Окончилась эта битва совершенно неожиданно: когда галаго в очередной раз висел вниз головой, саранча лягнула его посильнее, цепкие задние лапки галаго все же оторвались от ветки — и противники вместе полетели сквозь листву вниз. До земли оставалось уже совсем немного, и только тут лемурунок разжал одну руку (он все еще крепко держал саранчу за талию) и на лету, с ловкостью опытного акробата, ухватился за ближайшую ветку. Он тотчас подтянулся, сел на ветку и откусил саранче голову — она еще не успела настолько оправиться от полета, чтобы продолжать борьбу. Галаго тут же с явным удовольствием принялся жевать, не выпуская из рук обезглавленное насекомое, которое все еще судорожно дергало ногами. Потом склонил голову набок и стал разглядывать трепещущее тело, пронзительно взвизгивая от волнения и восторга. Когда насекомое перестало шевелиться и большие задние ноги его вытянулись и застыли, лемурунок одну за другой оторвал их и съел. В эту минуту он до смешного походил на крохотного старичка-гурмана, который лакомится ножкой исполинского цыпленка.

Вскоре долину заполнила тень и лемурунов было уже не разглядеть в листве, хотя до нас все еще доносилось их мягкое щебетанье. Мы встали, расправили затекшие ноги и вновь начали подниматься вверх по склону холма. Наверху Фон остановился и со счастливой улыбкой оглядел лес, простиравшийся внизу.

— Вот какой добыча! — усмехнулся он. — Я его очень много люблю. Он меня всегда смешит, я много смеялся.

— Да, это отличная добыча, — ответил я, — Как вы ее называете здесь, в Бафуте?

— В Бафуте мы его называем шиллинг. — сказал Фон.

— А как ты думаешь, мои охотники сумеют поймать таких хоть парочку?

— Завтра же ты таких получишь парочку, — пообещал Фон, но ни за что не хотел сказать мне, как они будут ловить лемурунов и кто это будет делать. Мы вернулись в Бафут уже в сумерки. Фон переоделся и в своем обычном представительном виде явился ко мне выпить. Когда мы пожелали друг другу спокойной ночи, я напомнил про обещание добыть мне несколько галаго.

— Да, мой друг, я не забуду, — сказал Фон. — Я добыть тебе несколько шиллингов.

Прошло четыре дня, и я уже начал думать, что или Фон забыл о своем обещании, или изловить галаго куда трудней, чем ему казалось. А на пятое утро, когда мне подали чай, я увидел у своего прибора на подносе маленькую, пестро раскрашенную корзиночку из волокна рафии. Я снял крышку и сонно заглянул в корзинку: оттуда на меня кротко, вопросительно смотрели четыре пары огромных, блестящих, наивных глаз. Это был подарок Фона — полная корзина шиллингов.

ГЛАВА VII. Ке-фонг-гуу

Травянистые степи Камеруна населяет множество самых разных пресмыкающихся, и

большинство их поймать вовсе не трудно. В низинных лесах очень редко увидишь хоть какую-нибудь змею, даже если станешь усердно ее искать. Змеи там, конечно, есть, но они, наверно, более разбросаны и, может быть, многие виды живут на деревьях, а таких гораздо труднее найти и поймать. В горах же трава кишмя кишит мелкими грызунами и лягушками, а горные рощицы полны птиц, так что для змей это просто рай. Там водятся огромные черные плюющиеся кобры, зеленые мамбы, тоненькие древесные змеи с огромными невинными глазами, многоцветные габонские гадюки с раздвоенным, наподобие вилки, рогом на носу, точно у носорога, и еще многое множество всяких других. Кроме змей, там в изобилии водятся лягушки и жабы; лягушки всех видов и размеров, от волосатой до крохотных древесных лягушек, величиной с желудь, среди них есть пятнистые, есть полосатые, иные изумляют таким разнообразием красок, что похожи совсем не на земноводных, а скорее на веселые конфетки; жабы, как правило, яркими красками не блещут, но бесцветность с лихвой возмещается тем, что они украшены самыми причудливыми узорами бородавок и наростов, и притом у них яркие, подчас неожиданного цвета глаза.

Но больше всего в этих местах ящериц, они попадаются буквально на каждом шагу: в высокой траве по обочинам дорог шныряют толстенькие коротконогие сцинки — светло-коричневые, серебристые и черные, а по стенам хижин, по дорогам и скалам важно расхаживают и кивают головами агамы всех цветов радуги. Под корой деревьев и под камнями прячутся маленькие гекконы с большими золотистыми глазами; туловища их очень красиво и аккуратно раскрашены шоколадным и кремовым, а ночью в хижинах можно увидеть обычных вееропалых гекконов; прозрачные, полупрозрачные, словно розовые жемчужины, они торжественно расхаживают по потолкам.

Всех этих животных мне принесли в разное время местные охотники. Порой это была змея, не слишком надежно привязанная к концу палки, или калекас, полный лягушек с разинутыми ртами. Иной раз добыча была аккуратно завернута в шапку или рубашку охотника или болталась на конце тонкой веревки. Такими случайными и опасными способами мне доставляли кобр, мамба или габонских гадюк; я только диву давался, глядя, как беспечно и небрежно обращаются охотники с этими смертоносными змеями, хоть и отлично знают, как это опасно. Как правило, африканцы прекрасно понимают, что такое змея, и на всякий случай склонны скорее считать каждую ядовитой, а не наоборот. Вот почему легкомыслие моих охотников казалось мне по меньшей мере странным. Еще сильнее изумился я, когда узнал, что единственная ящерица, которой они панически боятся, совершенно безвредна.

Однажды я отправился в очередной поход с Гончими Бафута, и мы пришли в просторную зеленую долину примерно в полумиле от деревни. Гончие разбрелись по долине и начали расставлять сети, а я пока уселся в траву и решил насладиться сигаретой. Вдруг в траве слева от меня что-то шевельнулось: я посмотрел внимательней и увидел такое пресмыкающееся, что чуть не ахнул: до этой минуты я был уверен, что самая красочная ящерица в лугах — агама, но по сравнению с той, которая сейчас предстала у меня перед глазами, пробираясь среди травинки, агама показалась бы серой, бесцветной, точно кусок оконной замазки. Я замер, затаив дыхание, не смея шелохнуться: еще спугнешь это удивительное создание — вот сейчас возьмет и юркнет в траву! Но так как я не шевелился, ящерица приняла меня за безобидное существо, а потому спокойно, неторопливо скользнула на солнце и расположилась на солнцепеке, задумчиво разглядывая меня глазами. В которых мелькали золотистые искорки. Я сразу понял, что это какая-то разновидность сцинка, но такого крупного и красочного представителя этого рода я, кажется, никогда еще не встречал. Ящерица лежала неподвижно, наслаждаясь лучами утреннего солнышка, и у меня было вдоволь времени, чтобы как следует ее рассмотреть.

Ящерица была в длину около фута вместе с хвостом, а в толщину примерно два дюйма (в самом толстом месте). Голова широкая и как бы обрубленная, ноги короткие, но сильные. Расцветка и рисунок настолько сложны и ослепительны, что описать их почти невозможно. Начать с того, что чешуйки у нее крупные и чуть приподнятые, так что кажется, будто вся ящерица очень хитроумно составлена из мозаики. Горло в черно-белых продольных

полосках, макушка красноватая, цвета ржавчины, а щеки, верхняя губа и подбородок ярче — кирпично-красные. Туловище в основном чисто черное, точно лакированное, и на его фоне остальные цвета проступают особенно отчетливо. От челюсти вниз, к передних лапам тянутся ярко-вишневые полосы, отделенные друг от друга узенькими полосками из черных и белых чешуек. Хвост и внешняя сторона ног испещрены белыми пятнышками, причем на ногах пятнышки маленькие и каждое отдельно, а на хвосте их так много, что местами они кажутся сплошными поперечными полосами. На спине тоже во всю длину чередуются полосы — черные и канареечно-желтые. И это еще не все: желтые полосы кое-где прерываются группами розоватых чешуек. Вся ящерица такая яркая и блестящая, как будто ее только что покрасили и краска еще не высохла.

Так мы сидели и смотрели друг на друга, а я тем временем лихорадочно обдумывал план действий: надо же ее поймать! Сачок для бабочек остался в десятке шагов от меня, но с таким же успехом он мог остаться в Англии — я все равно не мог им воспользоваться, ведь ящерица не станет лежать здесь и ждать, пока я сбегая за сачком. Позади нее простиралась необозримые джунгли высокой травы, и если она юркнет в эти заросли — прости-прощай, больше мне ее не видать... Тут, к своему отчаянию, я услышал шум — это возвращались Гончие Бафута. Что-то надо было делать да поскорей, иначе они спугнут мою красавицу. Я медленно поднялся на ноги, и ящерица тревожно подняла голову. Когда в траве зашуршали шаги идущего первым охотника, я, не раздумывая, бросился к ящерице. Конечно, внезапность нападения сослужила мне кое-какую службу — ведь ящерица целых четверть часа разглядывала меня, я сидел, не шевелясь, точно каменный, и она совсем не ожидала, что я вдруг ринусь на нее как ястреб. Но преимущество мое оказалось кратковременным: сцинк миглом опомнился от изумления и, когда я грохнулся в траву, легко и проворно скользнул в сторону. Я перекатился на бок, взмахнул рукой, пытаюсь схватить удаляющуюся ящерицу, и в ту же минуту охотник вышел на прогалину и увидел, чем я тут занимаюсь. Ему бы кинуться мне на помощь, а он вместо этого с протяжным воплем подскочил ко мне и оттащил меня подальше от моей добычи. Ящерица скрылась в густой путанице травы, только мы ее и видели; я стряхнул руку охотника, который вцепился в мой локоть, и яростно обрушился на него.

— Что ты делаешь? — крикнул я вне себя от злости. — Одурел, что ли?

— Маса, — оправдывался охотник, в волнении щелкая пальцами. — Это плохой добыча, опасный добыча. Если он кусать маса, маса один раз умереть.

Я с трудом овладел собой. Да, это для меня не новость, мне уже случалось с этим сталкиваться: африканцы твердо убеждены, что некоторые совершенно безвредные рептилии ядовиты и укус их смертелен, разуверить их в этом невозможно. Поэтому я удержался от соблазна объявить охотнику, что он круглый дурак, и попытался прибегнуть к другим методам убеждения.

— Как вы называете эту добычу? — спросил я.

— Мы ее называть Ке-фонг-гуу, сэр.

— И ты говоришь, она очень ядовитая?

— Очень, маса. Это опасный добыча.

— Ну ладно, глупый ты человек, только ты забыл, что у европейцев есть особое лекарство от укусов такой добычи. Ты что ж, забыл, что, если она меня укусит, я не умру?

— А, маса, я совсем забыть про это.

— И ты бежишь, как женщина, кричишь во все горло и мешаешь мне поймать такую прекрасную добычу, и все потому, что ты про это забыл, да?

— Виноват, сэр, — сокрушенно выговорил охотник.

Я легонько постучал пальцем по его курчавой голове.

— В следующий раз, друг мой, прежде чем делать глупости, сначала подумай головой, — строго сказал я. — Слышишь?

— Я слышишь, сэр.

Когда подошли остальные охотники, я рассказал им, что произошло, и все они ахали и

щелкали пальцами.

— Ха! — воскликнул один, и в голосе его слышалось восхищение. — Маса не имеет страх! Он старался поймать Ке-фонг-гуу!

— А Уано взять да и поймать маса! — сказал другой, и все громко расхохотались.

— Да, Уано, тебе сегодня удача! Другой раз маса тебя убить за такой глупый дело, — сказал третий, и все вновь разразились громогласным хохотом: подумать только, у охотника хватило безрассудства помешать мне поймать зверька!

Когда они наконец отсмеялись, я стал подробно расспрашивать их об этой ящерице. К моему немалому облегчению, Гончие уверяли, что таких здесь довольно много и мне не раз еще представится случай ее поймать. Однако все единодушно твердили, что ящерица эта страшно ядовита. Яд ее смертелен, уверяли они, и даже если только дотронешься до нее рукой, тотчас в судорогах упадешь наземь и через несколько минут умрешь. Потом они стали спрашивать, какое есть против этого смертоносного яда лекарство, но я напустил на себя подобающую таинственность. Сказал только, что, если они выследят для меня такую ящерицу, я ее поймаю и докажу им всем, что не стану корчиться в судорогах и не умру. Они сразу повеселели, очень заинтересовались столь опасным для жизни опытом и пообещали мне помочь (ни один, в сущности, не поверил в мое лекарство). Один из охотников сказал, что знает одно место, где можно найти множество таких ящериц; он утверждал даже, что до этого места не так уж далеко. Мы упаковали свое снаряжение и двинулись в путь. Охотники оживленно болтали между собой, должно быть, заключали пари — выживу ли я после того, как дотронуся до Ке-фонг-гуу, или помру..

Охотник, который вызвался показать место, где водятся Ке-фонг-гуу, вскоре отвел нас примерно за милю от той долины, где я впервые увидел свою красотку, и мы очутились у самого подножия холма. Сильные ливни смыли со склонов слой красной земли, и из-под нее широкими полосами проступил голый серый камень. Лишь кое-где в щелях осталась земля, и тут выросли растения, которым довольно для питания всего лишь крохотной горсточки почвы. Каменные пласты окаймляла высокая золотистая трава и какое-то странное растение, похожее на чертополох, с бледно-желтой, как у лютика, головкой. Открытый солнечным лучам камень совсем раскалился — не дотронешься! Когда я шел по склону, тонкие каучуковые подошвы моих башмаков прилипали к нему, точно я шел по липучке для мух. Я уж начал подумывать, не слишком ли жарко в этом пекле даже для самых солнцелюбивых ящериц? И вдруг яркая цветастая полоска вылетела из низенького островка зелени, мелькнула на мерцающей от зноя скале и юркнула под надежный кров высокой травы и чертополоха.

— Ке-фонг-гуу! — объявили Гончие Бафута, остановились как вкопанные и крепче стиснули в руках копьа. Опасаясь, что они будут не столько помогать, сколько мешать мне поймать желанную добычу, я велел им оставаться на месте, а сам пошел вперед. На сей раз я захватил с собой сачок для бабочек и начал осторожно, один за другим, обходить крохотные островки, поднимавшиеся из щелей в скале: в каждый я легонько тыкал ручкой сачка, проверяя, не прячется ли там ящерица. Просто удивительно, сколько всякой живности может скрываться даже в таком крохотном оазисе травы! Я вспугнул бесчисленное множество саранчи, целые тучи мотыльков и комаров, массу ярких бабочек, несколько жуков и несколько стрекоз. Теперь я понял, что так привлекает ящериц к этим выжженным и, казалось бы, бесплодным каменным склонам.

Вскоре мне повезло: я ткнул ручкой сачка в очередной пучок травы, легонько ею там поворожил и вспугнул Ке-фонг-гуу. Она выскользнула из своего укрытия и вильнула по шершавой поверхности скалы легко и плавно, точно камешек по льду. Я бросился за ней, но тут же обнаружил, что для бега на короткие дистанции нам с ящерицей требуются разные беговые дорожки. Нога моя попала в трещину, и я растянулся ничком во всю длину, а пока поднимался на ноги и искал сачок, моя ящерица скрылась из виду. К этому времени с меня ручьями лил пот, а от раскаленных камней несло жаром, как от плиты, и малейшее усилие заставляло кровь стучать у меня в голове, как барабан. Гончие Бафута стояли у кромки

высокой травы и молча, как зачарованные, наблюдали за каждым моим движением. Я утер лицо, зажал сачок в липкой от пота руке и упрямо направился к следующему кусту травы.

На сей раз я действовал осторожней: просунул ручку сачка между стеблями травы, легонько, медленно поводил ею там взад и вперед и так же осторожно вытащил — ну как?

И я был вознагражден: из травы высунулась яркая головка и с любопытством поглядела — что произошло? Я тотчас ударил по траве позади ящерицы и подставил сачок как раз в то мгновение, когда Ке-фонг-гуу оттуда выскочила. Еще миг — и я с торжеством поднял сачок над головой: там, запутавшись в складках сетки, отчаянно металась Ке-фонг-гуу. Я сунул руку внутрь сачка и ухватил пленницу поперек туловища, за что она немедленно мне отомстила — вцепилась челюстями в большой палец. Челюсти у ящерицы очень сильные, но зубки крохотные, так что укус был совсем безболезненный и безвредный. Чтобы чем-нибудь занять пленницу, я предоставил ей жевать мой палец, а сам тем временем вынул из ее сачка. Поднял высоко в воздух яркое тельце ослепительно красивой расцветки и помаhal им, как флагом.

— Смотрите! — закричал я охотникам, которые стояли, разинув рот, и глядели на меня во все глаза. — Вот, я поймал Ке-фонг-гуу!

Мягкие мешки, в которых мы обычно переносим пресмыкающихся, остались у охотников, поэтому я бросил сачок на скалу и пошел к ним, все еще сжимая в руке ящерицу. Тут Гончие Бафута все, как один, побросали свои копья и кинулись в высокую траву, словно стадо перепуганных антилоп.

— Чего ж вы боитесь? — закричал я им вслед. — Я держу ее крепко, она не убежит!

— Маса, мы сильно бояться, — хором отвечали Гончие, укрываясь в золотистых зарослях на безопасном расстоянии от меня.

Я утер лоб.

— Принесите мне мешок для этой добычи, — строго приказал я.

— Маса, мы бояться... этот опасный добыча, — донесся ответ.

Я понял, что надо поскорей придумать какой-нибудь весьма убедительный и непреложный довод, не то я вынужден буду гоняться за моими храбрыми охотниками по всей равнине, чтобы взять у них мешок для ящерицы. Я сел на землю у самой опушки травяных дебрей и вперил в Гончих грозный взгляд.

— Если сейчас же кто-нибудь не принесет мне мешок для этой добычи, — объявил я громко и сердито, — завтра я возьму себе других охотников. И если Фон спросит меня, почему я так сделал, я скажу ему, что мне нужны настоящие мужчины, охотники, которые ничего не боятся, а женщины мне совсем без надобности.

Над высокими травами воцарилась тишина: охотники решали, что страшнее — Ке-фонг-гуу у меня в руке или Фон в Бафуте. Через некоторое время Фон победил, и они медленно, нехотя подошли поближе. Один, все еще оставаясь на почтительном расстоянии, бросил мне мешок для моей пленницы, но я подумал, что, пожалуй, прежде чем засунуть ящерицу в мешок, стоит им кое-что показать.

— Смотрите все! — воскликнул я и поднял барахтающуюся ящерицу повыше, чтобы всем было видно. — Смотрите хорошенько, сейчас вы увидите — эта добыча не может меня отравить.

Держа сцинка в одной руке, я медленно поднес к самому его носу указательный палец другой; ящерица мигом угрожающе разинула рот и под крики ужаса, которыми разразились охотники, я засунул палец поглубже ей в рот — пускай жует на здоровье. Гончие Бафута точно вросли в землю и с безмерным изумлением, явно не веря собственным глазам, смотрели, как ящерица грызет мой палец. Вот так, круглыми глазами, раскрыв рты, затаив дыхание и подавшись всем телом вперед, они смотрели: что же будет? Что случится со мной от страшных укусов животного? Через несколько секунд ящерице надоело без толку грызть мой палец и она выпустила его. Я аккуратно уложил ее в мешок, завязал его и только после этого повернулся к охотникам.

— Ну, видели? — спросил я. — Это добыча меня укусила, так?

— Да, так, сэр, — благоговейным шепотом отозвались охотники.

— Ну вот: она впустила в меня яд, а? И вы думаете, теперь я умру?

— Нет, сэр. Если этот добыча кусать маса и маса не умереть сразу, теперь он не умереть совсем.

— Верно, я не умру: у меня есть такое особенное лекарство, — солгал я и с подобающей скромностью пожал плечами.

— А-а-а-а! Да, так: у маса есть отличный лекарство, — подтвердил один из Гончих Бафута.

Я проделал все это вовсе не для того, чтобы показать им преимущество белого человека над черным; истинной причиной этого маленького спектакля было мое заветное желание поймать как можно больше таких ящериц, а я знал, что мне их не получить, если я не заручусь помощью и содействием охотников. Но для того чтобы этим заручиться, надо было побороть их страх, а я мог это сделать одним-единственным способом: наглядно показать, что мое мифическое «лекарство» куда сильнее «смертельного» укуса Ке-фонг-гуу. Когда-нибудь потом под видом этого самого лекарства я дам им какой-нибудь невинной жидкости, и, вооруженные таким чудо-эликсиром, они отправятся на промысел и принесут мне полные мешки сверкающих красками Ке-фонг-гуу.

На обратном пути я важно шагал по дороге, с гордостью нес моего драгоценного сцинка и был весьма доволен собой: ведь я придумал такой хитрый способ наловить побольше этих красивых ящериц! За мной следовали легконогие Гончие Бафута, они шли молча и все еще взирали на меня с почтительным изумлением. Всякий раз, как кто-нибудь встречался нам на пути, они спешили сообщить ему о моем всемогуществе, и встречные ужасались, изумлялись и громко ахали. Разумеется, с каждым новым повторением рассказ этот приобретал все новые и новые поразительные подробности. Когда мы дошли до моей виллы и ящерица поселилась в просторной клетке, я собрал всех Гончих Бафута и произнес перед ними небольшую речь. Я сказал им, что, как они видели собственными глазами, мое лекарство — прекрасная защита от укусов Ке-фонг-гуу, Охотники с жаром закивали в знак согласия. Поэтому, продолжал я, завтра все они получают чудодейственную жидкость — ведь мне нужно поймать очень много таких ящериц, и с этим лекарством они могут смело пойти на охоту и принести мне добычу — теперь им бояться нечего. И тут я широко, благодушно улыбнулся, ожидая услышать крики восторга. Однако никаких восторгов не последовало: напротив, охотники совсем помрачнели и угрюмо топтались на месте, пальцы их босых ног зарывались в дорожную пыль.

— Ну как? — спросил я после долгого молчания. — Вы не согласны?

— Нет, маса, — пробормотали мои Гончие.

— Почему же? Разве вы не слышали, ведь я дам вам мое особенное лекарство? Чего вы боитесь?

Охотники скребли в затылках, переминаясь с ноги на ногу, беспомощно поглядывали друг на друга, и наконец один из них набрался храбрости, несколько раз откашлялся и заговорил.

— Маса, — начал он. — Твой лекарство, он, конечно, очень хороший. Мы это сами видеть. Мы видеть, как добыча кусать маса и маса не умереть.

— В чем же дело?

— Этот лекарство, маса, он колдует только белый человек. Он не колдует черный человек. Для маса этот лекарство хороший, для нас он не хороший.

Добрых полчаса я их убеждал, умолял, уговаривал. Они были очень вежливы, но непреклонны: лекарство годится для белых, а на черных оно не действует. В этом они были убеждены и твердо стояли на своем. Каких только доводов я не придумывал, пытаюсь их переубедить! Но тщетно. Под конец, безмерно разозлившись оттого, что мой хитрый план не сработал, я отпустил охотников и отправился обедать.

Вечером с бутылкой джина явился Фон в сопровождении пяти членов совета. Полчаса мы просидели на залитой лунным светом веранде и бессвязно болтали о всякой всячине;

потом Фон пододвинул свой стул поближе к моему, наклонился ко мне, и неизменная широкая подкупающая улыбка осветила его лицо.

— Один человек сказать мне, ты поймать Ке-фонг-гуу, — сказал Фон. — Этот человек сказать мне правда?

— Да, верно, — кивнул я, — Очень хорошая добыча, эта ящерица.

— Этот человек сказать, ты поймать Ке-фонг-гуу голый рука, — продолжал Фон. — Я думать, этот человек сказать неправда, а? Этот добыча, Ке-фонг-гуу, он очень опасный, его нельзя брать голый рука, а? Он тебя убить один раз, разве не так?

— Нет, этот человек сказал тебе правду, — решительно возразил я. — Я держал ящерицу голой рукой.

Услышав мой ответ, члены совета шумно перевели дух, а Фон откинулся на спинку стула и смотрел на меня широко раскрытыми глазами.

— И когда ты его поймать, что он делать? — спросил Фон после долгого молчания.

— Она меня укусила. Фон и его советники дружно ахнули.

— Она меня укусила вот сюда, — сказал я и вытянул руку, а Фон отшатнулся, точно я наставил на него ружье. Он и его советники оглядели мою руку с безопасного расстояния и оживленно о чем-то поговорили.

— Почему ты не умереть? — спросил потом Фон.

— Умереть? — нахмурился я. — А почему я должен был умереть?

— Да ведь этот добыча — опасный, — в волнении сказал Фон. — Он очень много сильно кусаться. Если его схватить черный человек, он один раз умереть. Почему ты никогда не умереть, друг мой?

— Ну, у меня от этого есть особенное лекарство, — небрежно бросил я.

И снова все присутствующие дружно ахнули.

— Этот лекарство — европейский? — спросил Фон.

— Да. Хочешь, я тебе его покажу?

— Да, да, отлично! — вскричал Фон.

Все молча ждали, а я пошел в комнату и принес свою аптечку; потом вытащил из ящичка пакет борной кислоты в порошке и высыпал щепотку себе на ладонь. Все жадно вытянули шеи, стараясь получше разглядеть чудодейственное лекарство. Я налил в стакан воды, размешал в ней порошок и натер раствором ладони.

— Вот и все! — сказал я и развел руками, как заправский фокусник. — Теперь Ке-фонг-гуу не сможет меня убить.

После этого я подошел к клетке с ящерицей, открыл дверцу и обернулся к своим гостям, держа в руках животное. Раздался шелест одеяний, и все члены совета, теснясь и толкаясь, точно стадо перепуганных овец, кинулись в другой конец веранды. Фон не шелохнулся в своем кресле, но, когда он увидел, что я направляюсь к нему, на лице его отразились страх и отвращение. Я остановился перед его креслом и протянул ему ящерицу, которая между тем силилась отгрызть мне палец.

— Смотри... Видишь? — сказал я. — Эта добыча не может меня убить.

Не сводя глаз с ящерицы. Фон в полнейшем изумлении со свистом выдохнул воздух. Наконец он оторвал от нее зачарованный взгляд и посмотрел на меня.

— Этот лекарство... — сказал он хрипло. — Он годится для черный человек?

— Очень годится и для черного человека.

— И черный человек не умереть?

— Ни в коем случае, друг мой.

Фон откинулся на спинку кресла и, пораженный, глядел на меня.

— А! — сказал он наконец. — Отличный штука, этот лекарство.

— Хочешь попробовать его на себе? — небрежно спросил я.

— Э-э-э... да, да, отлично, — с тревогой ответил Фон. Не давая ему времени передумать, я посадил ящерицу обратно в клетку и развел в воде еще немного борной. Потом еще раз показал Фону, как этим пользоваться, и он долго, усердно втирал «волшебное зелье»

в свои огромные ладони.

Наконец я принес клетку, вытащил ящерицу и протянул ее Фону.

Настала решающая минута: советники окружили нас, все же стараясь не подходить слишком близко, и, затаив дыхание, следили за нами. Их лица были искажены страхом, а Фон облизнул губы, протянул было руку к ящерице, но тотчас тревожно отдернул, потом протянул еще раз. Мгновение нерешительности, огромная черная рука повисла в воздухе над радужной ящерицей, наконец глубокий вздох — и ящерица у него на руке, уверенно схваченная поперек туловища.

— А-а-а-а-а! — выдохнули зрители.

— Вот! Я его держать! — завопил Фон и стиснул несчастную ящерицу с такой силой, что я испугался за ее жизнь.

— Полегче! — взмолился я. — Не тискай так, ты ее убьешь!

Но Фон совсем оцепенел, сложная смесь страха и восторга перед собственной смелостью сковала его: он сидел неподвижно, не спуская глаз с ящерицы, зажатой у него в руке, и только бормотал: — Я его взять... я его держать...

Мне пришлось силой разжать его пальцы, отнять злополучную ящерицу и посадить ее обратно в клетку.

Фон оглядел свои ладони и поднял на меня глаза; лицо его сияло совершенно детской радостью. Советники о чем-то оживленно переговаривались между собой. Фон замахал на меня руками и расхохотался. Он все хохотал, хохотал и никак не мог остановиться; при этом он хлопал себя по бедрам, сгибался в три погибели в своем кресле, кашлял, брызгал слюной, и по лицу его текли слезы. Смех этот был так заразителен, что засмеялся и я. а потом и советники тоже не заставили себя ждать. Мы все топали ногами и хохотали так, будто уже никогда в жизни не перестанем: в конце концов один из хохочущих советников совсем задохнулся и стал кататься по полу, а Фон, сотрясаясь от бурных приступов смеха, без сил откинулся на спинку кресла.

— Чего это вы смеетесь? — сквозь смех выговорил я наконец.

— Да очень смешно, — покатываясь от смеха, ответил Фон. — Очень долго время, еще когда я быть совсем малый и после, я всегда бояться этот добыча. Ха, я много его бояться. А теперь ты давать мне лекарство и я уже не бояться, Он опять откинулся на спинку кресла, и при одной этой мысли рассмеялся до слез, даже всхлипнул от смеха.

— Ке-фонг-гуу, твой время прошел, я тебя теперь не бояться. — захлебывался он.

Потом, совсем ослабев от хохота, не в силах разогнуться, мы допили все, что оставалось в бутылке, и Фон ушел к себе. бережно сжимая в руке пакетик с борной. Я предупредил, его, что это лекарство отлично помогает против укусов агам, Ке-фонг-гуу и гекконов, но, если ужалил змея, оно ни в коем случае не поможет. Как я и надеялся, рассказ о том, что мое лекарство сделало Фона неуязвимым — он держал в руке Ке-фонг-гуу и остался жив и здоров. — на другой же день был у всех на устах. Еще до вечера ко мне явились мои Гончие и озарили меня такими улыбками, что сердиться на них было просто невозможно.

— Ну, что случилось? — холодно спросил я.

— Маса, — попросили Гончие, — дай нам тот лекарство, который ты давать Фону, и мы пойти ловить для маса Ке-фонг-гуу.

В тот же вечер я оказался счастливым обладателем двух ящичков красивейших равнинных сцинков, а Гончие Бафута, окруженные толпой бафутян, распивали пиво и живописали восхищенным слушателям все подробности охоты, уж наверно украшая рассказ всевозможными домыслами. Я сидел на веранде и тоже слушал, а заодно писал записку в ближайшую аптеку с просьбой прислать мне борной. Несомненно, она мне еще очень и очень пригодится.

ГЛАВА VIII. Мнимая слепозмейка

Через несколько недель поток бафутян, которые приносили мне всевозможную

«добычу», усох до тоненького ручейка. Произошло это потому, что к тому времени у меня набралось достаточно экземпляров самых распространенных здесь животных и я таких больше не покупал. Веранда возле моей спальни была доверху забита всевозможными клетками, в которых размещались самые разнообразные млекопитающие, птицы и пресмыкающиеся, и потому изо дня в день все утро напролет и почти весь вечер я посвящал уходу за ними. Дел было по горло, скучать некогда: только успевай чистить клетки и кормить зверей, а сверх того я не уставал с истинным наслаждением наблюдать повадки моих пленников, присматривался, как они относятся к плену и ко мне. Кроме того, я наблюдал жизнь в Бафуте. Веранда, где я хлопотал, поднималась высоко над дорогой, и отсюда отлично видна была сама дорога, двор Фона и окружающие дома. Я глядел сквозь лохматую завесу бугенвиллеи и видел, как снуют взад и вперед многочисленные жены Фона, его отпрыски и советники, как приходят и уходят по дороге жители Бафута. С моей веранды я видел немало сцен, которые разыгрывались внизу, а стоило протянуть руку за биноклем, как лица актеров приближались ко мне настолько, что я мог разглядеть малейшую перемену в выражении этих лиц.

Однажды вечером я заметил на дороге стройную милостивую девушку; она брела, едва волоча ноги, точно дожидалась, чтобы кто-то ее догнал. Она как раз проходила мимо веранды, и я совсем было собрался окликнуть ее, но вовремя увидел, что ее рысцой догоняет молодой рослый парень, по внешности настоящий богатырь: лицо его перекосила свирепая гримаса. Он резко крикнул что-то; девушка остановилась, потом обернулась к нему, ее хорошенькое личико казалось недовольным и в то же время дерзким, и это явно не понравилось молодому человеку. Он остановился перед ней и громко, сердито заговорил, неистово размахивая руками, на темном лице так и сверкали глаза и зубы. Девушка слушала не шевелясь, на губах ее играла недобрая, насмешливая улыбка.

Тут на сцене появилось еще одно действующее лицо: по дороге торопливо подбегала старуха, она вопила благим матом и размахивала длинной бамбуковой палкой. Юноша не обратил на нее никакого внимания и продолжал что-то сердито толковать девушке, а та не достаивала его ответом. Старуха чуть не плясала вокруг них, махала своей палкой и пронзительно вопила, дряблые морщинистые груди подпрыгивали при каждом ее движении. Чем пронзительней она визжала, тем громче кричал молодой человек, а чем громче он кричал, тем мрачней становилось лицо девушки. Внезапно старуха волчком повернулась на одной ноге, точно дервиш, и с размаху ударила молодого человека палкой по плечам. Тот словно и не почувствовал удара, только протянул длинную мускулистую руку, вырвал у старухи палку и закинул так высоко, что палка перелетела через кирпичную стену и упала во двор Фона. Старуха секунду стояла в замешательстве, потом подскочила к молодому человеку сзади и со злостью дала ему пинка под зад. И опять он не обратил на нее ни малейшего внимания, а продолжал кричать на девушку и все яростней размахивал руками, И вдруг девушка злобно что-то ему ответила и, аккуратно прицеляясь, плюнула точно ему на ноги.

До сих пор молодой человек, видимо, не собирался начинать военные действия, и я решил, что дело его плохо, женщины. Похоже, пускают в ход нечестные методы и потому берут верх. Но плевков на ноги, очевидно, переполнил чашу его терпения: на секунду обиженный великан застыл с раскрытым ртом — подобного предательства он никак не ожидал! — а потом одним прыжком с яростным воплем рванулся к девушке, схватил ее одной рукой за горло, а другой стал осыпать звонкими оплеухами; наконец он отшвырнул ее от себя так, что она упала наземь. Такой поворот событий настолько потряс старуху, что она повалилась навзничь в канаву и забилась в великолепнейшей истерике, я таких сроду не видывал! Она каталась с боку на бок, шлепала себя ладонью по губам и издавала протяжные вопли, от которых у меня кровь стыла в жилах. Время от времени вопли прерывались пронзительным визгом. Девушка меж тем лежала в красной дорожной пыли и горько плакала; молодой богатырь по-прежнему не обращал внимания на старуху, он присел на корточки возле девушки и, очевидно, о чем-то ее упрасивал. Немного погодя она подняла

голову и слабо улыбнулась; тут он вскочил на ноги, схватил ее за руку, и они вдвоем зашагали обратно по дороге, а старуха все каталась в своей канаве и громко вопила.

Честно говоря, эта сцена порядком меня озадачила. В чем тут дело? Может, эта девушка — жена молодого богатыря? Может, она была ему неверна и он об этом узнал? Но при чем же тогда старуха? А может, девушка у него что-нибудь украла? Или, что, пожалуй, еще правдоподобнее, девушка и старуха хотели его заколдовать, а он об этом узнал? Да, колдовство, думал я; должно быть, разгадка в этом. Красотке надоел ее молодой муж, и она пыталась его отравить — наверно, намешала ему в еду мелко изрубленные усы леопарда, а добыла она это волшебное средство у старухи, а старуха — уж наверняка известная здешняя колдунья. На муж заподозрил неладное, и молодая жена убежала к колдунье, чтобы та ее защитила. Муж бросился догонять жену, а колдунья (есть же у нее какие-то обязанности по отношению к своим клиентам!) побежала вслед за ними обоими в надежде как-то уладить дело. Только я успел разработать эту версию и придать ей душеспасительную форму, подходящую для рассказа в «Уайд уорлд мэгэзин», как вдруг увидел Джейкоба: он стоял внизу и сквозь зеленую изгородь глядел на старуху — та все еще с воплями каталась в канаве.

— Джейкоб! — крикнул я ему. — Что там такое творится?

Джейкоб поднял голову и гортанно хохотнул.

— Этот старуха, сэр, она мамми для тот девочка. Тот молоденький девчонка, он жена для тот мужчина. Тот мужчина весь день ходить на охота, а как он прийти домой, жена не приготовила ему никакая еда. А он быть сильно голодный и хотел побить жена, а жена бежать, и он тоже бежать, хотел ее побить, а старуха тоже бежать, хотел побить мужа.

Какое горькое разочарование! Я почувствовал, что Африка, этот огромный, таинственный континент, меня предала. Взамен моего сочного сюжета с колдуньями и чудодейственными зельями, полными усов леопарда, передо мной разыгралась зауряднейшая семейная ссора с обычными участниками: ленивая жена, голодный муж, неприготовленный обед и теща, которая, как и положено тещам, суется не в свое дело. Я вновь занялся своим зверинцем, но не сразу мне удалось отделаться от ощущения, что меня обманули. Больше всего досаждала мне мысль о теще.

Вскоре после этого случая на веранде и вокруг нее вновь поднялся переполох, в котором главную роль играл я, но только очень нескоро сумел я по достоинству оценить смешную сторону этого происшествия.

Вечер стоял прекрасный, и стайки узких, пушистых облачков собирались на западе — ясно, что закат предстоит великолепный! Я только что допил заработанную тяжким трудом чашку чаю и в лучах закатного солнца сидел на верхней ступеньке лестницы, пытаюсь научить невероятно глупого бельчонка сосать молоко с ватного тампона, намотанного на конец спички. На секунду я прервал эту мучительную работу, поднял глаза — и увидел, что по дороге вперевалочку шагает толстая пожилая женщина. На ней была одна только совсем узенькая набедренная повязка, в зубах зажата длинная, тонкая черная трубка. На макушке поверх коротко стриженных седых волос торчал крохотный калebas. Женщина остановилась у подножия моей лестницы, выбила трубку и аккуратно повесила на веревку, обмотанную вокруг ее обширной талии, потом стала подниматься по бесконечным ступеням ко мне на веранду.

— Здравствуй, мамми, — окликнул я.

Женщина приостановилась и широко улыбнулась мне.

— Здравствуй, маса, — отозвалась она и продолжала с трудом передвигаться со ступеньки на ступеньку, задыхаясь и шумно переводя дух от усталости.

Наконец она добралась до меня, поставила калebas к моим ногам и, пыхтя, привалилась к стене всем своим жирным телом.

— Устала, мамми?-спросил я.

— А, маса, я стал много жирный. — объяснила она.

— Жирная! — возразил я с негодованием. — Совсем тыне жирная, мамми. Ты ничуть

не жирней меня.

Толстуха громко захихикала, и ее огромное тело затряслось.

— Нет, маса, ты надо мной смеяться.

— Нет, мамми, я верно говорю, ты еще совсем худенькая.

Женщина откинулась к стене и затряслась от смеха — это она-то худенькая! Все ее громадное тело колыхалось. Наконец она немного успокоилась и указала пальцем на калебас.

— Я тебе принести добыча, маса.

— Какая же это добыча?

— Змея, маса.

Я вынул затычку и заглянул в калебас. На дне свернулась в кольцо тоненькая коричневая змейка, дюймов восьми в длину. Я сразу решил, что это слепозмейка — вид безглазой змеи, которая проводит свой век, зарывшись в землю. Слепозмейки внешне напоминают английскую веретенницу и совершенно безвредны. У меня уже набрался целый ящик этих пресмыкающихся, но мне так понравилась веселая толстуха, что не хотелось ее огорчать, отказавшись от ее «добычи».

— Сколько ты хочешь за эту добычу, мамми?-спросил я.

— А, маса, ты мне платить сколько знаешь.

— А змея не ранена?

— Нет, маса, он здоровый.

Я опрокинул калебас вверх дном, и змея выпала на гладкий цементный пол. Женщина с удивительным для такой толстухи проворством метнулась в другой конец веранды.

— Он тебя кусать, маса, — предостерегла она.

Джейкоб, который явился поглядеть, что тут происходит, бросил на нее испепеляющий взгляд.

— Ты разве не знаешь, маса не бояться никакой яд, — сказал он. — У маса есть особый лекарство, и такой змея его не кусать.

— А-а, вот как? — сказала женщина.

Я наклонился и подобрал слепозмейку, собираясь получше разглядеть ее и убедиться, что она цела и невредима. Я осторожно взял ее двумя пальцами, и она обвилась вокруг моего указательного пальца. Взглянул на нее и очень удивился: на меня смотрела пара больших блестящих глаз, а ведь у слепозмеек глаз не бывает. Изумленный таким открытием и все еще, как дурак, небрежно держа змею в руке, я обратился к Джейкобу:

— Смотри, Джейкоб, у этой змеи есть глаза!

И вдруг понял, что так беспечно держу в руке вовсе не безвредную слепозмейку, а какую-то совсем не известную мне змею и понятия не имею, на что она способна. Я уже хотел разжать руку и бросить змею на пол, но не успел — она плавно повернула голову и запустила зуб в мякоть моего большого пальца.

Не припомню, чтобы я еще когда-нибудь испытал подобное потрясение. Сам по себе укус был пустяковый, всего лишь булавочный укол, но сразу же началось легкое жжение, как после комариного укуса. Я вмиг бросил змею и изо всех сил стиснул палец, так что кровь потекла из ранки, и пока я его сжимал, мне на ум пришли три обстоятельства: во-первых, в Камеруне нет сыворотки против змеиного яда; во-вторых, до ближайшего врача не меньше тридцати миль; в-третьих, мне не на чем до него добираться. Эти мысли отнюдь не прибавили мне бодрости, и я стал ожесточенно высасывать кровь из ранки, сжимая основание пальца как можно крепче. Потом оглянулся вокруг и увидел, что Джейкоб куда-то исчез; я готов был заорать от ярости, но тут он бегом вернулся на веранду, в одной руке у него была бритва, в другой — бинты. В лихорадочной спешке я стал объяснять ему, что делать, и Джейкоб из всех сил стянул повязку вокруг моего запястья и ниже локтя, а потом учтиво, чуть ли не с поклоном, подал мне бритву.

Никогда в жизни я не представлял себе, сколько решимости требуется человеку, чтобы полоснуть себя бритвой, и до чего она, бритва эта, острая. Мучительные секунды я медлил в

нерешительности, потом полоснул себя по руке бритвой — и, как оказалось, глубоко разрезал палец в полудюйме от ранки, то есть там, где от разреза не было никакого толку.

Я попробовал еще раз — примерно с тем же успехом — и мрачно подумал: если я не умру от укуса змеи, то, оказав себе такую «первую помощь», вполне могу истечь кровью. И начал со злостью перебирать в памяти все книги, которые я в свое время прочитал, где говорилось, что надо делать, если тебя укусила змея. Все эти книги без исключения предписывали сделать надрез поперек ранки, на всю ее глубину, насколько в тело проник ядовитый зуб. Предписывать такое очень легко, а вот успешно последовать этому совету, когда режешь собственный палец, — далеко не так просто. Я вовсе не хотел опять и опять рубить себе руку в надежде, что рано или поздно все-таки попаду по ранке, а значит, оставался единственный выход: я аккуратно приложил лезвие к месту укуса и, скрипя зубами, надавил и сильно потянул бритву. На этот раз все получилось как надо, кровь брызнула во все стороны. Теперь, вспоминая я, надо пустить в ход марганцовку, и я всыпал несколько кристалликов в зияющую рану и обернул руку чистым носовым платком. К тому времени запястье и железки у меня под мышкой уже основательно вспухли и в пальце начались острые боли, точно стреляло, хотя было это от укуса или от моего врачевания — сказать трудно.

— Маса идти к доктору? — спросил Джейкоб, не сводя глаз с моей руки.

— Как же мне идти к доктору? — с досадой возразил я. — У нас тут нет машины. Или ты думаешь, я смогу дойти до него пешком?

— Маса надо идти к Фон и просить его вездеход, — предложил Джейкоб,

— Вездеход? — спросил я с пробудившейся надеждой, — А у Фона есть вездеход?

— Да, сэр.

— Так походи, попроси... да поскорей.

Джейкоб со всех ног помчался вниз по лестнице и по огромному двору, а я шагал взад и вперед по веранде. Вдруг я вспомнил, что у меня в спальне пропадает без дела большая непочатая бутылка французского коньяка, и поспешил туда. Но не успел я с трудом, одной рукой вытащить пробку, как тут же вспомнил: в вопросе о том, как действует спиртное на человека, ужаленного змеей, авторы всех книг единодушны и безоговорочно утверждают — ни при каких обстоятельствах после змеиного укуса пить спиртное нельзя — кажется, алкоголь вызывает сердцебиение и причиняет организму всяческие другие неприятности. На секунду я застыл с бутылкой в руке, а потом решил: если уж все равно придется умирать, то лучше умереть в хорошем настроении. Я поднял бутылку и сделал изрядный глоток. Теперь, согретый и ободренный, я легким шагом вышел на веранду и прихватил бутылку с собой.

Внизу, по двору Фона спешила большая толпа во главе с Джейкобом и самим Фоном. Все они подбежали к большой хижине, Фон распахнул дверь, и толпа влилась туда; впрочем, люди тут же появились вновь, толкая перед собой дряхлый, помятый автомобиль. Толпа выкатила его через арку на дорогу, и там Фон их всех оставил и поспешно стал подниматься ко мне по знаменитой лестнице, а по пятам за ним бежал Джейкоб.

— Друг мой! — задыхаясь выговорил Фон. — Плохой дело!

— Да, верно, — согласился я.

— Твой слуга, он сказать мне, у тебя нет европейский лекарство для такой укус. Это верно?

— Да, верно. Может быть, у доктора есть такое лекарство, я не знаю.

— Бог помогать, доктор дает тебе лекарство, — благочестиво сказал он.

— Выпьешь со мной? — спросил я и помахал бутылкой.

— Да, да, — просиял Фон. — Мы выпить. Выпивка — хороший лекарство для такой случай.

Джейкоб принес стаканы, и я налил нам обоим по изрядной порции коньяку. Потом мы подошли к лестнице и сверху поглядели, как продвигается подготовка кареты скорой помощи.

Машина, видно, простояла в хижине целую вечность, и все ее внутренности словно

заклинило. Водитель осторожно поколдовал над ней, мотор несколько раз громко кашлянул и снова заглох. Плотное кольцо зрителей сдвинулось теснее, все выкрикивали разные советы и наставления, а водитель меж тем высунул голову из окошка и властью отругивался. Так продолжалось немало времени, потом водитель вылез и стал пытаться завести мотор ручкой, но тут мотор даже не чихнул. Водителю это скоро надоело, он отдал ручку одному из советников и присел отдохнуть на подножку. Советник подоткнул свои одежды и мужественно сражался с заводной ручкой, но пробудить мотор к жизни ему не удалось.

Зрители — их набралось уже человек пятьдесят — все жаждали помочь, так что советник передал им ручку и присоединился к водителю на подножке. В толпе меж тем началась постыдная драка: всякому хотелось первым попытаться счастья, все кричали, толкались и вырывали ручку друг у друга. Шум привлек внимание Фона; он осушил свой стакан и, сердито хмурясь, подошел к перилам веранды. Тут он перегнулся вниз и окинул дорогу грозным взглядом.

— Эй! — загремел он вдруг. — Заводить этот машина!

Толпа смолкла, все задрала головы к веранде, а водитель и советник соскочили с подножки и кинулись к радиатору машины, олицетворяя собой неукротимую жажду деятельности. Правда, им не повезло, когда они добежали, оказалось что ручка куда-то исчезла. В толпе снова поднялся галдеж, каждый обвинял всех остальных в том, что они потеряли ручку. Наконец ручка нашлась, и эти двое сделали еще несколько безуспешных попыток расшевелить упрямый мотор.

К тому времени я уже чувствовал себя совсем худо и мужество мне вконец изменило. Рука до самого локтя сильно распухла, покраснела и очень болела. В плечо тоже стреляло, а кисть горела так, точно я сжимал в ней раскаленный докрасна уголь.

До врача добираться не меньше часа, думал я, и если машину не удастся завести сейчас же, то ехать вообще будет уже незачем. Но тут водителя, который едва не надорвался, пытаясь завести мотор ручкой, осенила блестящая мысль. Они будут толкать машину всю дорогу! Он объяснил свою затею толпе, и все громко захлопали и закричали от восторга. Водитель влез в машину, остальные столпились позади и принялись толкать. Размеренно ухая в такт движениям, они толкали машину по дороге, завернули за угол и скрылись из виду.

— Он скоро завестись, — улыбнулся Фон, стараясь меня подбодрить, и налил мне еще коньяку. — И тогда ты скоро доехать к доктору.

— Ты думаешь, она все-таки заведется? — недоверчиво спросил я.

— Да, да, друг мой, — сказал Фон; кажется, он даже слегка обиделся. — Этот мой машина — отличный машина. Он завестись мало время, не беспокойся.

Вскоре мы опять услышали уханье, поглядели с веранды вниз и увидели машину: она появилась из-за угла, ее по-прежнему толкало, казалось, все население Бафута. Толпа подползала к нам, как улитка, и в ту минуту, как машина дошла до нижней ступеньки моей лестницы, мотор несколько раз чихнул и взревел. Толпа завизжала от восторга, и все принялись прыгать и скакать по дороге.

— Вот, завелся, — гордо объяснил мне Фон на случай, если я не понял причины общего ликования.

Водитель ловко провел машину под аркой во двор, развернул ее и снова выехал на дорогу: он все время нетерпеливо сигналил и едва не передавил колесами своих недавних помощников. Мы с Фоном осушили свои стаканы и спустились вниз по семидесяти пяти ступенькам. Внизу Фон заключил меня в свои объятия и тревожно заглянул мне в лицо. Он явно хотел сказать какие-то слова, которые придали бы мне бодрости и поддерживали бы меня на пути к доктору. На минуту он глубоко задумался.

— Друг мой, — сказал он наконец. — Если ты умереть, мне очень много тебя жаль.

Боясь, что голос может выдать мои чувства, я молча стиснул ему руку в надежде, что это выглядит достаточно красноречиво, и забрался в машину: она тотчас тронулась и пошла по дороге, дергаясь и подпрыгивая, а Фон и его подданные остались позади в туче красной

пыли.

Через три четверти часа мы подъехали к дому врача, и тормоза оглушительно завизжали. Доктор стоял на крыльце и мрачно глядел на клумбу. Когда я вылез из машины, он удивленно поднял на меня глаза и пошел мне навстречу; подойдя поближе, он внимательно взгляделся мне в лицо.

— Кто вас укусил? — спросил он.

— Откуда вы знаете, что меня укусили? — спросил я, пораженный таким мгновенным диагнозом.

— У вас зрачки очень сильно увеличены, объяснил доктор с удовольствием мастера, который уж в своем-то деле не ошибется. — Кто вас укусил?

— Змея. Не знаю какая, но боль адская. Вот я и приехал к вам, хотя вряд ли от этого будет толк. Ведь у вас, наверно, сыворотки нет?

— Надо же, — сказал он, явно очень довольный, — как это ни странно, я привез немного, когда ездил в последний раз в отпуск. Почему-то подумал — может, пригодится. Она уже полгода лежит в холодильнике.

— Вот это повезло!

— Входите в дом, дорогой мой, входите. Мне очень интересно, подействует ли эта сыворотка.

— Мне тоже, — признался я.

Мы вошли в дом, и я сел в кресло, а доктор и его жена сразу захлопотали: достали спирт, шприц и все прочее, что требуется для введения сыворотки. Потом доктор сделал мне три укола в палец, как можно ближе к ранке и еще два в руку повыше локтя. Все это было куда болезненнее, чем сам укус.

— Немножко неприятно? — весело осведомился доктор, считая мой пульс.

— Да уж хуже некуда, — с горечью ответил я.

— Вам полезно выпить хорошую порцию неразбавленного виски.

— Я думал, в таких случаях спиртное противопоказано.

— Нет, нет, это не повредит, — сказал доктор и налил мне изрядную порцию.

Никогда еще я не пил виски с таким наслаждением!

— А теперь, — продолжал доктор, — вы останетесь у меня ночевать, в доме есть свободная комната. Через пять минут извольте уже лежать в постели. Если хотите, можете принять ванну.

— А нельзя мне уехать обратно в Бафут? — спросил я. — Там у меня животные, и без меня за ними, в сущности, некому как следует присмотреть.

— Вы сейчас не в состоянии возвращаться в Бафут и присматривать за животными, — твердо сказал доктор. — Никаких разговоров, немедленно в постель. Если я увижу, что вы достаточно оправились, поедете завтра утром.

Спал я, к моему удивлению, крепким сном и, когда проснулся на следующее утро, чувствовал себя просто отлично, хоть рука до локтя была все еще распухшая и побаливала. Завтрак мне принесли в постель, потом пришел доктор.

— Как вы себя чувствуете? — спросил он.

— Отлично. Настолько хорошо, что даже начинаю думать — может быть, змея была все-таки не ядовитая?

— Нет, она была очень ядовитая. Вы говорите, она запустила вам в палец только один зуб и вы, наверно, бросили ее так быстро, что она не успела впустить в вас весь запас яда. Если бы успела, вы бы так легко не отделались.

— А можно мне ехать в Бафут?

— Пожалуй, можно, если вы чувствуете, что в силах перенести это путешествие, хотя рука, наверно, еще день-два не будет вам служить как следует. Во всяком случае, если она станет вас беспокоить, приезжайте ко мне.

Подстегиваемый мыслью о моих драгоценных зверях, которые ждут в Бафуте нечищенные и некормленные, я гнал беднягу водителя так, что мы добрались до дому за

неслыханно короткое время. Остановились на дороге у лестницы, что вела к моей вилле, и тут я увидел — на нижней ступеньке сидит вчерашняя толстуха.

— Здравствуй, мамми, — сказал я, вылезая из машины.

— Здравствуй, маса, — ответила она, с трудом поднялась на ноги и вперевалочку побрела мне навстречу.

— Что же тебе надо? — спросил я; мне не терпелось поскорей добраться до моих зверей.

— Маса все забыть? — с удивлением спросила женщина.

— Что я забыл, мамми?

— Э, маса, — укоризненно сказала она. — Ведь я принести такой отличный змея, а маса мне так и не заплатит!

ГЛАВА IX. Фон и золотистая кошка

Мое пребывание в Бафуте понемногу подходило к концу. Я собрал множество всякой живности, и пора было увезти эти живые трофеи в основной лагерь, где их можно будет заново расселить по клеткам и приготовить к путешествию в Англию. Без особой радости я сообщил всем охотникам, что через неделю уезжаю, не то они продолжали бы приносить зверей и после моего отъезда. Я заказал грузовик и послал Смигу письмо о том, что мы едем. Когда Фон услышал эту новость, он примчался ко мне, сжимая в руках бутылку джина, и принялся горячо уговаривать меня остаться еще. Я объяснил ему, что и сам бы очень хотел побыть в Бафуте подольше, но никак не могу: обратные билеты были заказаны заранее, значит, весь мой зверинец должен быть готов двинуться в путь в назначенный день. При малейшей задержке мы пропустим пароход, а другого может не быть еще месяца два — на такую задержку у меня просто не хватит денег.

— А, друг мой, я очень много жалеть, что ты едешь, — сказал Фон, наливая джин мне в стакан так, что казалось — бьет неистощимый родник.

— Я тоже очень жалею — вполне искренне сказал я, — но мне никак нельзя больше оставаться в Бафуте.

— Ты не забывай Бафут, — сказал Фон и уставил на меня длинный палец. — Ты хорошо помнишь Бафут. Ведь тут ты поймать много отличный добыча, разве не так?

— Так, — ответил я и обвел рукой клетки, уставленные друг на друга в несколько этажей. — В Бафуте я собрал очень много добычи.

Фон милостиво кивнул. Потом подался вперед и крепко сжал мою руку.

— Когда ты приехать в твой страна, когда-нибудь ты рассказать твои люди, что Фон Бафута, — твой друг, он много старался, чтоб ты иметь отличный добыча, а?

— Я им все расскажу, — пообещал я. — И еще расскажу, что Фон Бафута — прекрасный охотник, самый лучший охотник в Камеруне.

— Отлично, отлично. — обрадовался Фон.

— Только одну добычу я здесь так и не добыл, — сказал я. — Мне очень жаль.

— Какой же это добыча, друг мой? — спросил Фон, с тревогой наклонясь ко мне.

— Ну, такая большая древесная кошка, у которой шкура как золото, а на животе отметины. Я показывал тебе фотографию, помнишь?

— А! Этот добыча? — сказал он. — Ты говорить верно. Этот добыча ты еще не поймать.

И он погрузился в угрюмое молчание, хмуро глядя на бутылку с джином. Пожалуй, с моей стороны было довольно бестактно напоминать ему об этом пробеле в моей коллекции. А доставало мне золотистой кошки — одного из самых мелких, но и самых красивых представителей кошачьего семейства, какие водятся в этой части Африки. Я знал, что и вокруг Бафута их немало, но охотники относились к этому животному еще почтительней, чем к леопарду или к сервалу, хотя оба они много крупнее золотистой кошки. Я не раз показывал фотографию золотистой кошки Гончим Бафута, но они только щелкали языком да

качали головой и уверяли меня, что ее необыкновенно трудно поймать, что она «очень сильно свирепый» и «очень много хитрый». Я предлагал большие деньги не только за поимку кошки, но даже за то, что мне всего лишь скажут, где ее можно найти, — и все напрасно. Когда до отъезда осталось меньше недели, я примирился с мыслью, что золотистой кошки мне не добыть.

Фон откинулся в кресле, глаза его блеснули, на губах заиграла заразительная улыбка.

— Я добыть тебе этот добыча, — сказал он и важно кивнул головой.

— Но, друг мой, через пять дней я уезжаю из Бафута. Как же ты успеешь поймать ее за пять дней?

— Я ее поймать, — решительно сказал Фон. — Ты подождать мало время и увидеть сам. Я добыть тебе этот добыча..

Фон не пожелал сказать мне, как он собирается сотворить это чудо, но он был так уверен в себе, что я невольно подумал: вдруг он и в самом деле сумеет добыть мне редкостного зверя! Однако уже занялось утро моего последнего дня в Бафуте, а никакой золотистой кошки не было и в помине, и я потерял всякую надежду. Видно, Фон сгоряча дал обещание, выполнить которое оказалось ему не под силу.

День настал хмурый, пасмурный — ведь наверху в горах сезон дождей начинается раньше, чем на равнинах. По небу низко неслись темные серые тучи, моросил мелкий дождик, порой из дальних горных цепей доносился раскат грома: от всего этого меня еще сильнее одолевало уныние, а мне и без того было невесело-уж очень не хотелось уезжать из Бафута. Я всей душой полюбил эти молчаливые равнины и людей, что здесь живут. Я искренне привязался к Фону, даже восхищался им, и мне становилось по-настоящему грустно при мысли, что с ним надо распрощаться, ведь в его обществе я так славно и весело проводил время.

Около четырех часов дня моросящий дождь перешел в сильнейший ливень: он явно зарядил надолго, затянул все сплошной водяной завесой, стучал и гремел по крыше виллы, по разлапистым листьям ближних пальм, превратил плотно убитую красную землю на просторном дворе Фона в сверкающее море жидкой кроваво-красной глины, рябое от мириадов падающих капель. Я дочистил все клетки, накормил всех зверей и теперь угрюмо бродил из угла в угол по веранде, глядя, как дождь бьет о кирпичную стену и безжалостно треплет пунцовые цветы бугенвиллеи. Все мои вещи были уже упакованы, клетки наготове, оставалось только погрузить их в машину. Я не мог придумать себе никакого занятия, а выходить под ледяной ливень не хотелось.

Случайно я глянул вниз — там, на дороге, появился человек с большим мешком за спиной; он пытался бежать, но ноги у него скользили и разъезжались по глине. «Может быть, он несет мне какую-нибудь редкую добычу и хоть немного меня порадует», — с надеждой подумал я и стал нетерпеливо следить за его приближением; но, к немалой моей досаде, человек с мешком свернул под арку, зашлепал через огромный двор и скрылся за дверью под второй аркой, ведущей в усадьбу Фона. Вскоре после того, как он скрылся из виду, возле маленькой виллы Фона раздались громкие крики, но через несколько минут все стихло, и опять я слышал только шум дождя. Я отправился пить в одиночестве чай; потом накормил сов и прочих ночных обитателей моего зверинца; они, кажется, немного удивились — ведь я никогда не кормил их так рано, — но я знал, что скоро придет Фон, чтобы на прощанье провести со мной вечер, и мне хотелось покончить с этой работой до его прихода.

К тому времени, как я закончил все мои дела, дождь утих и лишь едва моросил, будто в воздухе повис туман, а в серых, быстро несущихся низких облаках появились разрывы и сквозь них сияло нежно-голубое прозрачное небо. Не прошло и часа, как облака совсем рассеялись и чистое ясное небо до краев наполнил свет закатного солнца. Где-то возле дома Фона дробно забил маленький барабанчик, и дробный стук этот становился все громче. Отворилась дверь под аркой, и через двор двинулось небольшое шествие. Во главе выступал Фон, облаченный в свой самый великолепный пунцово-белый наряд; он осторожно обходил сверкающие под солнцем лужи. За ним следом шел тот самый человек, которого я видел под

дождем, за спиной у него был все тот же мешок. Далее следовали четыре советника, а замыкал шествие мальчуган в белом одеянии и крохотной шапочке, он с важным видом бил в маленький барабанчик. Очевидно, Фон направлялся ко мне с торжественным прощальным визитом. Я спустился по лестнице к нему навстречу. Он остановился передо мной, положил руки мне на плечи и с необычайной суровостью поглядел мне в лицо.

— Друг мой, — медленно, внушительно произнес он. — У меня есть одна вещь для тебя.

— Что же это такое? — спросил я.

Фон царственным жестом откинул назад свои длинные рукава и указал на человека с мешком.

— Лесной кошка! — провозгласил он.

Минуту я стоял в недоумении и озадаченно смотрел на него, и вдруг вспомнил, кого он пообещал для меня добыть.

— Лесная кошка? Та самая, которую мне так хотелось поймать? — переспросил я, не смея верить своему счастью.

Фон кивнул, на лице его выражалось спокойно удовлетворение хорошо поработавшего человека.

— Дайте-ка, я посмотрю! — задохнувшись от волнения, сказал я. — Откройте скорей мешок!

Человек с мешком опустил свою ношу наземь передо мной, и я, совсем позабыв, что надел в честь Фона чистые брюки, грохнулся на колени в самую грязь и стал поспешно развязывать крепкую веревку. Фон стоял рядом и улыбался до ушей, точно некий благожелательный Санта-Клаус. Мокрая веревка на горловине мешка туго затянулась, я тащил и рвал ее, и тут из мешка раздался жуткий, свирепый вопль; он начался как рокочущий стон, все нарастал и оборвался режущим ухо визгом, да таким злобным, что у меня мороз пошел по коже. Охотник, советники и мальчик с барабаном поспешно отпрянули на несколько шагов.

— Осторожно, маса, — предостерег меня охотник. — Это опасный добыча. Он очень много сильный.

— А ты связал ей ноги? — спросил я. Охотник кивнул.

Я развязал последний узел на веревке, медленно открыл мешок и заглянул внутрь. На меня бешено сверкнул глазами зверь такой красоты, что я ахнул. Шерсть у него была короткой, шелковистой, сочного золотисто-коричневого цвета, словно дикий мед. От злости кошка плотно прижала заостренные уши к голове и вздернула верхнюю губу так, что она вся сморщилась, обнажив молочно-белые зубы и розовые десны. Но всего поразительней были глаза: большие, чуть раскосые на золотистой морде, они впелись в меня с неизбывной холодной яростью, и я подумал — какое счастье, что ноги у нее связаны! Глаза зеленые, точно листья подо льдом, сверкали, как слюда, в лучах закатного солнца. Секунду мы молча глядели друг на друга, потом золотистая кошка еще больше оскалила зубы, разинула пасть и издала громкий, устрашающий вопль. Я поскорей завязал мешок — кто знает, крепко ли у нее связаны ноги? А, судя по глазам, она обойдется со мной не слишком ласково, если сумеет вырваться из мешка.

— Нравится? — спросил Фон.

— Еще бы! Просто слов нет, как нравится, — ответил я.

Мы отнесли драгоценный мешок на веранду, и я поспешно переселил куда-то обитателя самой большой и крепкой клетки, какая у меня была. Потом мы осторожно вытряхнули связанную золотистую кошку из мешка, закатали в клетку и поплотней закрыли и заперли дверцу. Кошка лежала на боку, рычала и шипела, но двинуться с места не могла: ее передние и задние лапы были накрепко связаны между собой крепкой веревкой, должно быть, из волокна рафи. Я привязал к концу палки нож, просунул его между прутьями клетки, и таким образом мне удалось перепилить веревку; как только она упала, кошка мгновенно, одним плавным движением вскочила на ноги, прыгнула на прутья, просунула наружу

толстую золотистую лапу и замахнулась, метя мне в лицо. Я едва успел отшатнуться.

— Ага, — усмехнулся Фон. — Он очень злой, этот добыча.

— Может разодрать человека в самый мало время, — подтвердил охотник.

— Он много сильный, — согласился Фон и кивнул. — Он иметь много сила в ноги. Ты хорошо следить за ним, друг мой, а то он тебя ранить.

Я послал на кухню за цыпленком и, когда мне его принесли, только что зарезанного и еще теплого, помахал им возле прутьев клетки. Снова стремительно высунулась золотистая лапа, белые когти впились в добычу и дернули цыпленка за шею и одним сильным рывком втащила его в клетку: между прутьями полетели перья — золотистая кошка начала пожирать мертвую птицу. Я почтительно прикрыл клетку мешком, и мы оставили пленницу пировать в свое удовольствие.

— Как ты ее поймал? — спросил я охотника.

Тот ухмыльнулся и смущенно переступил с ноги на ногу.

— Ты что, не слышать? — спросил Фон. — У тебя что, язык нет? Говори же!

— Маса, — начал охотник и почесал живот. — Фон мне сказать, маса очень хотеть такой добыча, и я три дня ходить на охота его искать. Я ходить, ходить и очень много уставать, а добыча я никак не видеть. А вчера, когда вечер, этот лесной кошка приходиться тихо-тихо на мой двор и зарезать три курица. А утром я увидать его след в грязь и я пойти опять на охота. Очень много далеко я за ним идти, маса, и вот на один большой холм я его увидать.

Фон пошевелился в своем кресле и уставился на охотника испытующим взглядом.

— Ты говорить правда? — строго спросил он.

— Да, маса, — ответил охотник. Я говорить все правда.

— Хорошо, — сказа Фон.

— Ну, я увидать этот лесной кошка, — продолжал охотник, — он пойти на тот большой холм. Он идти на такой место, где сильно много камень. Он идти в дыра в земле. Я этот дыра хорошо посмотреть, только человек туда не пролезть, дыра очень много узкий. Тогда я идти обратно мой дом, взять хороший собаки и сеть и идти назад на тот место. Я положить сеть перед дыра и зажигать маленький огонь, и нагнать дым в дыра.

Он на мгновенье умолк, прищелкнул пальцами и даже подпрыгнул на одной ноге.

— Ух! Этот добыча, он очень много свирепый! Как почуять дым, так скорей стал рычать и рычать! А собака, они испугаться и все убежать! А я испугаться лесной кошки меня поймать и я тоже убежать. Мало время я слышать добыча все рычать и рычать и я тихо-тихо идти назад его смотреть. Ух. маса! Этот добыча, он забежать прямо в сеть и сеть его крепко держать! Как я это увидать, я уже не бояться, я подойти и связать ему ноги веревка, и вот я принес его для маса.

Охотник окончил свой рассказ и тревожно вглядывался мне в лицо, вертя в руках коротенькое копьё.

— Друг мой, — сказал я ему. — Я считаю, ты отличный охотник, и я хорошо заплачу тебе за эту добычу.

— Да, так, так, — согласился Фон и величественно повел рукой. — Этот человек, он хорошо для тебя охотиться.

Я дал охотнику изрядную сумму денег, подарил вдобавок несколько пачек сигарет, и он ушел от меня сияющий; еще долго, пока он спускался по лестнице и шел по дороге, я слышал, как он опять и опять восклицает: «Спасибо, маса, спасибо!» Потом я повернулся к Фону: тот сидел, откинувшись в кресле, и не сводил с меня глаз, явно очень довольный собой.

— Друг мой, большое тебе спасибо за то, что ты для меня сделал, — сказал я ему.

Фон протестующе замахал руками.

— Нет, нет, друг мой, это только малый пустяки. Было бы нехорошо, если ты уехать из Бафут и не получить вся добыча, какой ты хотеть. Я очень много сожалеть, что ты уезжать. Но когда ты смотреть на весь этот отличный добыча, ты вспоминать Бафут, верно?

— Да, верно, — сказал я. — А теперь, друг мой, давай выпьем?

— Отлично, отлично, — сказал Фон.

Словно желая вознаградить нас за мрачный день, закат блеснул красотой — такого, кажется, я еще не видывал. Солнце зашло за сетку бледных, продолговатых облаков, и они из белых стали сначала жемчужно-розовыми, потом налились малиновым светом, и их обвело золотой каймой. Само небо омыла нежнейшая голубизна и зелень, там и сям оно чуть золотилось, и, пока мир темнел, все ярче разгорались трепетные звезды. Вскоре взошла и луна; вначале кроваво-красная, она понемногу желтела и наконец, поднявшись выше, стала серебряной и весь мир обратила в морозное серебро с угольно-черными тенями.

Мы с Фоном допоздна сидели в туманном лунном свете и выпивали. Наконец он обернулся ко мне и указал на свою виллу.

— Я думаю, может, ты любишь танцевать, — сказал он. — И я сказать им сделать музыка. Ты хотел, чтобы мы танцевать, пока ты еще не уехать, верно?

— Да, я люблю танцевать, — ответил я.

Фон, шатаясь, поднялся на ноги и, перегнувшись через перила веранды так, что казалось — вот-вот вывалится, прокричал приказ кому-то, кто ждал внизу. Через несколько минут по большому двору двинулись многочисленные огни, на дороге внизу собрался оркестр из жен Фона и начал играть. Очень скоро к женщинам присоединились и другие музыканты, в том числе почти все советники. Фон немного послушал музыку, улыбаясь и размахивая в такт руками, потом встал и протянул мне руку.

— Пойдем, — сказал он. — Мы будем танцевать, да?

— Отлично, отлично, — передразнил я его, и он так и покатился со смеху.

Мы прошли по залитой лунным светом веранде к лестнице; тут Фон обхватил меня длинной ручищей за плечи, отчасти от дружеских чувств, отчасти для того, чтобы не упасть, и мы двинулись вниз по ступенькам. На полпути мой спутник остановился и немножко поплясал под музыку. Нога его запуталась в просторных одеяниях, и если бы он так крепко не обнимал меня, то непременно бы скатился по ступенькам прямо на дорогу. Но он держался крепко, и потому мы только сильно шатались и качались с минуту, но все же нам удалось устоять на ногах и не потерять равновесие окончательно. Столпившиеся внизу жены, советники и отпрыски громко ахнули от ужаса и совсем оцепенели, увидя своего господина и повелителя в таком опасном положении, даже оркестр перестал играть.

— Музыка, музыка! — ревел Фон, пока мы с ним раскачивались на ступеньках. — Почему вы больше не играть?

Оркестр заиграл, мы вновь обрели равновесие и уже не отступаясь, без происшествий спустились по оставшимся ступеням. Настроение у Фона было отличное, и ему вздумалось взять меня за руку и прошествовать со мной в танце через весь двор; мы с ним шлепали по лужам, а оркестр семенил позади и играл, хоть у музыкантов явно не хватало дыхания. Когда мы добрались до дома танцев, Фон уселся на свой трон отдохнуть, а придворные пустились перед ним в пляс. Потом, когда в танце наступило небольшое затишье, я попросил Фона подозвать оркестр поближе: мне хотелось как следует рассмотреть их инструменты. Музыканты подошли и остановились перед возвышением, на котором мы сидели; я испытал все инструменты по очереди, и мне показывали, как на каждом надо играть. Ко всеобщему удивлению (я и сам очень удивился), мне удалось правильно сыграть на бамбуковой флейте первые такты песенки «Кэмпбеллы идут». Фон пришел в такой восторг, что заставил меня повторить этот подвиг еще несколько раз и собственноручно аккомпанировал мне на большом барабане, а один из советников вторил ему на каком-то странном инструменте, который звучал наподобие корабельной сирены. Получалось не слишком мелодично, зато мы очень старались и играли с большим чувством. Потом пришлось повторить все сначала, потому что Фон пожелал послушать, как это будет звучать со всем оркестром. Прозвучало в общем неплохо, потому что большинство фальшивых звуков, которые я извлекал из моей флейты, совершенно заглушали барабаны.

Когда все музыкальные возможности этой песни были исчерпаны, Фон послал за новой

бутылкой, мы уселись поудобнее и стали смотреть на танцы. Однако бездеятельность вскоре надоела Фону. Не прошло и часа, как он начал ерзать на своем троне и грозно хмуриться на оркестр. Он наполнил наши стаканы, откинулся на спинку трона и мрачно уставился на танцоров.

— Этот танец, он не хороший, — заявил он наконец.

— Отличный, — возразил я. Чем он тебе не нравится?

— Очень сильно медленный, — пояснил Фон, наклонился ко мне и обезоруживающе улыбнулся. — Хочешь мы танцевать твой особенный танец?

— Особенный танец? — переспросил я; затуманенная винными парами мысль моя работала медленно. — Какой это танец?

— Раз, два, три, брык! Раз, два, три, брык! — пропел Фон.

— А, вот ты о чем говоришь. Да, давай станцуем его, если хочешь.

— Я очень много хочешь, — твердо сказал Фон.

Он вывел меня на середину и крепко ухватился за мою талию, а все остальные, весело болтая и ухмыляясь от удовольствия, выстроились за нами. Мне хотелось внести в танец хоть немного разнообразия, я взял у кого-то флейту, громко и фальшиво дул в нее, а сам тем временем повел танцоров в какой-то дикой пляске по всей площадке и дальше, среди хижин Фоновых жен. Ночь была очень теплая, и через полчаса такого веселья я совсем задохнулся, с меня ручьями лил пот. Наконец мы остановились отдохнуть и по обыкновению глотнуть подкрепляющего. Однако моя конга явно очень полюбилась Фону. Он сидел на своем троне, глаза у него блестели, ноги отбивали такт, и, отдавшись воспоминаниям, он тихонько мурлыкал мелодию танца и с плохо скрытым нетерпением ждал, пока я отдышусь и можно будет повторить все сначала. Я решил, что надо как-то отвлечь его от этой затеи: в такую душную ночь конга требует слишком больших усилий, а сверх того во время последнего круга я преобольно ударился о дверной косяк и содрал кожу с голени. Поэтому я мысленно поискал, какому бы другому танцу мне его научить, чтобы и сил требовалось поменьше, и оркестр мог быстро усвоить мелодию. Наконец я выбрал подходящий танец, еще раз попросил дать мне флейту и несколько минут на ней поупражнялся. Потом обернулся к Фону — тот все это время с большим интересом наблюдал за мной.

— Если ты велишь оркестру выучить эту особенную музыку, я научу тебя еще одному европейскому танцу, — сказал я.

— Отлично, отлично, — ответил Фон; глаза его заблестели, он повернулся и громко призвал оркестр к молчанию, потом заставил их ходить вокруг нашего возвышения, пока я играл на флейте нужный мотив. Музыканты на удивление быстро подхватили мелодию и даже украсили ее собственными вариациями. Фон в восторге отбивал ногой такт.

— Да, отличный этот музыка, — сказал он. — Теперь ты показать мне новый танец, да?

Я поглядел по сторонам и выбрал молоденькую девушку, которая, я уже давно это заметил, казалась на редкость смышленной; я прижал ее к себе, насколько позволяли приличия (одежды на ней практически не было никакой) и пустился по площадке в развеселой польке. Моя партнерша после мгновенного замешательства превосходно подладилась под мой шаг, и мы в лучшем стиле прыгали и скакали по всему «танцевальному залу». Желая показать, как ему нравится новый танец, Фон захлопал в ладоши, и тотчас же все присутствующие присоединились к нему; сперва послышались самые обыкновенные разрозненные хлопки, но ведь это были африканцы! Они быстро вошли в ритм танца и теперь рукоплескания раздавались точно в такт. Мы с девушкой обошли большую площадку пять раз, и тут нам волей-неволей пришлось остановиться — надо было перевести дух. Когда я подошел к помосту, Фон протянул мне полный до краев стакан виски, а когда я сел, похлопал меня по спине.

— Отличный танец, — сказал он.

Я кивнул и залпом осушил стакан. Не успел я его отставить, как Фон схватил меня за руку и потащил обратно на площадку.

— Пойдем, — горячо попросил он. — Научи меня этот ганец.

Обхватив друг друга, мы проплясали польку вокруг площадки, но получилось не так уж хорошо, потому что широкие одежды моего партнера то и дело обвивались вокруг моих ног, и мы внезапно останавливались, как стреноженные. Всякий раз нам приходилось терпеливо стоять и ждать, пока толпа советников нас распутает, а потом мы снова пускались в пляс — раз, два, три, прыг! — и останавливались в противоположном углу, накрепко связанные, точно два столба, обвитые для праздника одной и той же лентой.

В какой-то миг я глянул на часы и с ужасом убедился, что уже три часа ночи. Как ни жаль, а пришлось мне распрощаться с Фоном и отправиться спать. Фон и его подданные проводили меня до большого двора, и там я их оставил. Взобрался на лестницу, оглянулся. При свете мерцающих фонариков все они танцевали польку. В самой середине прыгал и скакал Фон, совсем один, он увидел меня, взмахнул длинной рукой и закричал: «Доброй ночи, друг мой, доброй ночи!» Я помахал в ответ и с наслаждением забрался в постель.

На следующее утро в половине девятого прибыл грузовик, и мы погрузили на него весь мой зверинец. Попрощаться и проводить меня пришло неисчислимое множество бафутян; они начали прибывать ни свет ни заря, а теперь выстроились вдоль дороги и, оживленно переговариваясь, ждали, когда я двинусь в путь. Наконец погрузили последний ящик, и тут барабаны, флейты и трещотки возвестили о том, что прощаться со мной прибыл Фон. Одет он был так же, как в день моего приезда, когда я увидел его впервые, — на нем было белоснежное без всяких украшений одеяние и красная, как вино, шапочка. И сопровождала его наряднейшая свита: советники в ослепительно ярких одеждах. Фон подошел, обнял меня, и, не выпуская моей руки, обратился к бафутянам с краткой речью. Когда он замолк, вся толпа дружно закричала «А-а-а-а!» и дружно, в лад захлопала в ладоши. Фон повернулся ко мне и возвысил голос.

— Мой народ очень много жалеет, что ты покидать Бафут. Все этот люди, они будет помнить тебя и ты тоже не забывать Бафут, да?

— Я никогда не забуду Бафут, — ответил я от всего сердца, стараясь перекрыть громкие рукоплескания.

— Хорошо, — с удовлетворением сказал Фон; потом крепко стиснул мою руку в своей ладони и тряхнул ее. — Друг мой, я тебя всегда будет видеть перед мой глаза. Я никогда не забыть, какой счастливый время мы провести вместе. Бог дай, ты благополучно доехать до твой страна. Ехать хорошо, друг мой, ехать хорошо.

Грузовик тронулся, и рукоплескания участились, они звучали все дробней и дробней — вскоре уже казалось, это капли дождя торопливо стучат по железной крыше. Мы медленно катили по тряской дороге, вот, наконец, и поворот, тут я оглянулся и увидел, что вдоль всей дороги вытянулись две сплошные стены обнаженных темных тел, в воздухе мелькают хлопающие черные руки, сверкают белозубые улыбки, а в конце этой живой аллеи стоит высокий человек в ослепительно белом одеянии. Вот он поднял длинную руку, в последний раз помахал на прощанье, грузовик завернул за угол и покатил по красной проселочной дороге, которая вилась через золотые, сверкающие под солнцем холмы.

ГЛАВА X. Зоопарк под брезентом

Собиратель зверей чаще всего узнает нрав и повадки своих подопечных лишь к концу путешествия, и это всегда очень огорчительно. Поначалу, примерно месяца четыре, животные кажутся собирателю всего лишь «образчиками» своего вида — ведь у него нет времени наблюдать за ними так внимательно, чтобы они наконец обрели в его глазах какую-то свою индивидуальность. Прежде всего надо позаботиться о том, чтобы как следует разместить пойманных животных, накормить их и содержать в чистоте, а больше уже ничего не успеваешь, потому что все остальное время всячески стараешься пополнить свой зверинец. Однако же к концу путешествия зверинец обычно так разрастается, что собирателю больше некогда самому ходить на охоту — слишком много хлопот с теми животными, которых уже поймал. Тут наступает время, когда остается лишь надеяться на

местных охотников — может, поймают для тебя еще каких-нибудь новых зверей, — зато теперь ты при зверинце неотлучно и получаешь возможность получше узнать своих пленников. Именно в таком положении я и оказался, когда вернулся из Бафута. У нас в главном лагере собрались не только равнинные животные: пока я охотился в горах, Смит неустанно собирал всяческих животных, населяющих местные леса. Под обширной брезентовой крышей нашей палатки собралось достаточно самого разнообразного зверья, чтобы создать небольшой зоопарк.

Итак, вернувшись в наш пышущий зноем и насыщенный влагой главный лагерь на берегах реки Кросс, я впервые начал ближе знакомиться с некоторыми из моих равнинных пленников. Взять хотя бы даманов. Пока я не довез их до главного лагеря, мне казалось — они довольно скучные создания и знамениты только своими родичами. На первый взгляд дамана можно принять за обычного грызуна, и это было бы вполне простительно, а если вы увидите, как они жуют листья или гложут сочную кору какого-нибудь дерева, вы, пожалуй, подумаете, что они сродни кроликам. И сильно ошибетесь, потому что ближайший родственник дамана, как ни странно, вовсе не кролик, а слон! Действительно, по строению костей и другим анатомическим особенностям даман ближе всего к слону и носорогу. Услышав подобные сообщения, люди невольно задумываются: в своем ли уме эти зоологи? Ведь даман примерно так же похож на слона, как слон — на колибри. Однако же родство становится яснее, если повнимательней присмотреться к более сложным особенностям анатомии и строению зубов этого животного. Вот, честно говоря, и все, что я до сих пор знал о дамане.

Когда мы добрались до главного лагеря, старую самку дамана — ту самую, что искусала одного из Гончих Бафута, — и двоих ее толстых детенышей перевели из маленькой клетки, в которой они сюда ехали, в другую, много просторнее; тут они могли свободно бродить и имели даже собственную спальню, куда можно было удалиться, если у них не было настроения общаться с людьми. И вот, наблюдая за их поведением в этой клетке, я заметил несколько особенностей, которых прежде не замечал. Начать с того, что у даманов есть, оказывается, так называемые туалетные навыки; иными словами, они всегда опорожняли свой кишечник в одном и том же углу клетки. До тех пор я и не подозревал, каким облегчением для собирателя животных, который трудится в поте лица, может быть привычка его зверей к опрятности. Как только я понял, что означает аккуратная кучка помета, которую я обнаруживал каждое утро в одном и том же углу, я постарался облегчить себе чистку клетки даманов. Я просто-напросто поставил им в качестве уборной круглую мелкую жестянку. Но, к моей большой досаде, на следующее же утро я увидел, что даманы с презрением отвергли мой дар: они столкнули жестянку в сторону и преспокойно сделали все, что им требовалось, на пол клетки, как обычно. В тот же вечер я опять поставил туда жестянку, но на сей раз положил на дно немного того, что нашел утром на полу. Наутро я с восторгом убедился, что жестянка полна, а пол в клетке безукоризненно чистый. Теперь уж уборка клетки даманов отнимала у меня от силы минут пять: надо было всего лишь опорожнить жестянку, вымыть ее и поставить на место. Да, чистить клетку с даманами стало истинным удовольствием. Совершенно иными повадками отличаются мешетчатые крысы: эти грызуны величиной с небольшого котенка жили в нашем зверинце по соседству с семейством даманов. Крысы эти принадлежат к довольно неприятной группе животных, которые не хотят — или не могут? — опорожнять свой кишечник иначе, как в воду, и предпочитают при этом воду проточную. На воле им, вероятно, служат для этой цели ручьи: вода уносит помет и он удобряет какое-нибудь растение ниже по течению. Однако в клетке я не мог предоставить моим мешетчатым крысам ручей, и пришлось им удовольствоваться кое-чем похуже — горшком с водой. Не так-то приятно ставить в клетку чистенький, симпатичный горшок, наполненный прозрачной, как слеза, водой, и через пять минут увидеть, что он полон жидкого помета. Все это было очень хлопотно — ведь в жару животным необходим постоянный запас свежей питьевой воды, а тут крысы загрязняют ее, не успев напиться. Я очень старался отучить их от злополучной привычки, но все

понапрасну; в конце концов пришлось поставить им в качестве уборной большой горшок и давать побольше сочных фруктов в надежде, что фрукты утолят их жажду.

Но вернемся к даманам. В Бафуте я вообразил, что это скучные, недружелюбные животные и всю свою жизнь только тем и занимаются, что сидят и жуют листья, тупо глядя в одну точку стеклянными глазами. В главном же лагере я понял, что сильно ошибался: когда даман приходит в хорошо расположение духа, он способен резвиться, как ягненок. По вечерам, когда клетку заливал солнечный свет, старая самка располагалась на полу клетки, важная, внушительная — ни дать, ни взять лев с Трафальгар-сквер в Лондоне, — и неторопливо жевала пучок нежнейшего шпината или листьев кассавы, а малыши резвились рядом. Игры у них были дикие и шумные: они гонялись друг за дружкой по всей клетке, а порой, к моему немалому удивлению, взбегали по гладкой деревянной задней стенке до самой крыши, и только оттуда, с самого верха, падали на пол.

Когда им надоедали эти цирковые трюки, они обращали свою дородную мамашу в подобие крепости. Один взбирался ей на спину, а другой кидался на него и пытался его оттуда сбросить. Порой оба сразу оказывались у матери на спине и яростно боролись друг с другом, а мать преспокойно лежала, не шевелясь, задумчиво глядела в пространство и не переставала жевать. Я с удовольствием наблюдал эти игры, одно лишь было досадно: милые детки подчас так увлекались, что резвились до глубокой ночи, особенно если ночь выдавалась лунная. А когда два малыша-дамана носятся по клетке из угла в угол и поднимают такой шум, будто в деннике дерутся молодые жеребцы, уснуть совершенно невозможно. Я сидел в постели и самым устрашающим голосом кричал им: «Тише вы!» И, представьте, даманята на полчаса затихали; хорошо, если за это время успеешь заснуть — ведь через полчаса все начиналось сначала: снова стучали по доскам копытца, звенела проволока и раздавался весьма мелодичный звон — это от удара копытцем опрокидывались миски с едой. Да, уж что-что, а скучными даманов никак не назовешь.

И еще один зверек показал себя во всей своей красе, когда мы приехали в главный лагерь: черноухая белка, та самая что подняла такую кутерьму на лестнице перед виллой в Бафуте. В то время я и не подозревал, что кутерьма на лестнице — лишь малая толика того, на что способно это неугомонное существо, если оно в соответствующем расположении духа. Можно было подумать, что любимое развлечение в жизни этой зверюшки — удирать, увлекая за собой вслед толпу преследователей. Бельчонок, как я уже говорил, был совсем еще маленький; попав в мой зверинец, он очень скоро стал на диво ручным. Я брал его в руки, сажал к себе на плечо, и он ничуть не протестовал: сидел столбиком и исследовал мое ухо в надежде, что я догадался спрятать там для него орех или еще что-нибудь вкусенькое. Если вокруг было не больше четырех человек, он вел себя в высшей степени достойно, но вид толпы тотчас наполнял его каким-то дьявольским желанием бежать и увлечь за собой погоню. Вначале я думал, что людская толпа беспокоит и пугает его и он действительно старается удрать. Но скоро убедился, что дело совсем не в этом: если за ним гнались, но не могли догнать, бельчонок останавливался, усаживался на задние лапки и дожидался, когда преследователи подойдут поближе. Очень забавно, что мы сперва назвали маленького негодника «Любимчик» (за его послушание и хороший характер) и только потом открылось нам всего его коварство. Первые гонки Любимчик учинил через три дня после того, как мы приехали в главный лагерь.

Весь наш запас воды для лагеря хранился в двух огромных бензиновых баках, которых стояли возле кухни. Каждый день заключенные из местной тюрьмы наполняли их свежей водой. Арестанты оказались веселыми парнями в чистейших белых рубашках и шортах; каждое утро они взбирались вверх по холму к нашему лагерю, неся на своих бритых головах бидоны из-под керосина, доверху полные воды. За ними всегда шагал тюремщик в нарядной светло-коричневой форме, начищенные медные пуговицы так и сверкали на солнце, а он шел, на ходу энергично размахивал короткой дубинкой и с первого взгляда было ясно: с ним шутки плохи! Арестанты (тут были собраны преступники всяческих рангов, от мелких воришек до убийц) с удовольствием выполняли свою скучную обязанность и, если с ними

поздоровается, просто сияли от радости. Раз в неделю я раздавал им сигареты, и тюремщик (который в это время выпивал со мной кружку пива) разрешал им походить по лагерю и поглядеть на зверей. Это развлечение, конечно, было приятным разнообразием в их невеселой жизни, и они толпились возле клеток с обезьянами и до слез хохотали над их шалостями или заглядывали в ящик со змеями и содрогались от сладкого ужаса.

В то утро, о котором я хочу вам рассказать, я шел кормить Любимчика, и тут появились арестанты. Они вереницей проходили мимо меня, на блестящих от пота лицах играла дружелюбная улыбка, и каждый добродушно говорил: «Здравствуй, маса; мы уже прийти... мы принести вода для маса... Привет, маса...» и прочее в том же роде. Тюремщик с четкостью бывалого служаки мне откозырял и тут же совсем по-мальчишески ухмыльнулся. Пока они выливали воду из керосиновых бидонов в баки, я вынул бельчонка из клетки, посадил его к себе на ладонь и дал кусочек сахара. Он схватил сахар, поглядел вокруг и увидел возле кухни группу арестантов: они сплетничали с моими помощниками и отпускали непристойные шуточки. Бельчонок убедился, что людей хватает, можно устроить гонку в свое удовольствие... и он крепче зажал в зубах сахар, легко соскочил с моей ладони и большими прыжками помчался по лагерю, а хвост развевался у него за спиной, как пламя на ветру. Я кинулся вдогонку, но не успел пробежать и десятка шагов, как Любимчик уже скрылся в густых кустах, окаймлявших наш лагерь. Все кончено, решил я: больше мне его не видать, и так отчаянно закричал, что все побросали свои дела и со всех ног бросились ко мне.

— Белка убежала! — заорал я арестантам. — Плачу пять шиллингов всякому, кто ее поймает!

И тут произошло такое, чего я никак не ожидал: арестанты побросали свои керосиновые бидоны и ринулись в кусты, а за ними по пятам, отшвырнув дубинку и фуражку, чтобы ничто не мешало ему бежать, помчался их страж. Мои помощники присоединились к погоне, и вся орава с треском лезла напролом сквозь кусты и низкий подлесок в поисках коварного Любимчика. Все пространство вокруг лагеря прочесали самым тщательным образом, но нигде не заметили никаких следов бельчонка...

И вдруг его нашли: он сидел в ветвях невысокого куста, с интересом поглядывал, как люди суетятся и шарят вокруг, и преспокойно приканчивал свой сахар. Увидев, что его заметили, он спрыгнул на землю, пробежал через весь лагерь и дальше, на тропинку, что взбиралась на холм, а следом мчалась задыхающаяся толпа: тюремщик, арестанты и мои помощники. Скоро все они скрылись из виду и на лагерь снизошли мир и покой, но ненадолго: через несколько минут Любимчик вновь появился на гребне холма, прискакал в лагерь, пролетел через палатку, забрался в свою клетку и с невинным видом принялся грызть сахарный тростник. Полчаса спустя в лагерь ввалились арестанты, их страж и мои служащие, все в поту, еле волоча ноги от усталости, и доложили мне, что добыча от них все-таки удрала и теперь, конечно, скрывается уже в самой чаще леса. Когда я показал им бельчонка (он уже доел свой сахарный тростник и теперь мирно спал) и рассказал, как он вернулся, все пораскрывали рты и с минуту не могли опомниться от изумления. А потом, как истые сыны Африки, они в полной мере оценили комизм происшедшего: они буквально катались от смеха по всему лагерю, заливались громким хохотом, хлопали себя по бедрам, хохотали так, что даже слезы струились по щекам. Тюремщик до того развеселился, что упал на шею одному из арестантов и громко всхлипывал от смеха.

После этого тюремщик и арестанты каждый день приносили какую-нибудь дань зверьку, который заставил их так быстро бежать и «так ловко их одурачить»: иногда это был кусочек сахарного тростника или пригоршня земляных орехов, иногда кассава или кусок хлеба. Что бы это ни было, Любимчик садился у самых прутьев клетки и принимал дары, взвизгивая от удовольствия, арестанты же собирались вокруг клетки и рассказывали друг другу или какому-нибудь новичку, который про это еще не слышал, историю о том, как они гнались за бельчонком. Тут подымался громкий смех и Любимчика превозносили на все лады: вот хитрец, вот ловкач, как он здорово всех провел! И это был только первый из многих случаев, когда Любимчик поднимал страшный переполох в нашем лагере, Из

множества разнообразных животных, которых нам приносили, пока мы оставались в нашем главном лагере, примерно одну пятую составляли детеныши, и, хотя почти все они были очаровательные создания, нам из-за них прибавлялось немало хлопот — ведь в животном мире младенцы требуют такого же ухода и заботы, как и любой человеческий детеныш. Мы очень привязались ко всей это мелюзге, но особенно хороши были и в то же время больше всех досаждали нам трое малышек, которых мы называли «бандитами». Это были детеныши кузиманзы, одной из виверр, довольно распространенной в лесах. Взрослая особь величиной примерно с крупную морскую свинку; шерсть у нее густая, жесткая, шоколадного цвета, хвост пушистый, мордочка длинная, острая, с подвижным розовым носом и круглыми выпуклыми глазами, точно пуговицы от башмаков. Когда «бандиты» к нам прибыли, они были величиной с небольшую крысу и глаза у них только-только открылись. Шерстка была яркой, рыжеватой и торчала у них на теле какими-то клочками и пучками, так что зверьки напоминали дикобразов. Самой примечательной частью тела у них были носы — длинные, ярко-розовые и до того гибкие, что зверьки поводили ими из стороны в сторону, точно крохотным хоботом. Вначале пришлось их кормить смесью молока с кальцием и рыбьим жиром, и работа эта была не из легких: ни один звереныш любого другого вида не выпивал так много молока, и напоить их было тем трудней, что они были чересчур малы, чтобы, как все остальные, сосать молоко из бутылочки. Поэтому приходилось наматывать на палочку ватный тампон, окунать его в молоко и давать им сосать.

Сначала все шло как нельзя лучше, но едва у них стали прорезываться острые зубки, как начались новые заботы. От жадности они вцеплялись в вату бульдожьей хваткой и уже не выпускали, так что я не мог снова окунуть тампон в молоко. Нередко они так впивались в вату зубами, что тампон сползал с палочки и они тут же пытались его проглотить; приходилось засовывать палец им в горло и ловить тампон, когда он уже исчезал в глубине их глотки — только так мне удавалось спасти их и не дать им задохнуться. Но едва я засовывал палец им в горло, зверьков немедленно начинало тошнить, а как только их вырвет, они, понятно, снова голодны — и изволь начинать все сначала. Всякому, кто гордится своим долготерпением, я бы посоветовал испытать себя: попробуйте-ка выкормить из бутылочки детенышей кузиманзы.

Когда у «бандитов» окончательно прорезались зубы и они научились хорошо ходить, их одолела ненасытная любознательность — вечно они пытались сунуть свой розовый нос в чужие дела. Жили они в так называемой «детской» — это было скопление корзинок, где мы собрали всех детенышей. Корзинки стояли между нашими двумя кроватями, так что и ночью кормить всех младенцев было очень удобно. Крышка корзинки, в которой обитали наши «бандиты», закрывалась не слишком плотно, и они очень скоро наловчились ее сталкивать; тогда они выбирались из корзинки и отправлялись осматривать лагерь. Нас это очень тревожило, потому что «бандиты» совершенно не знали страха и с одинаковой беспечностью могли сунуть нос куда угодно: в клетку обезьяны и в ящик со змеями. У них была в жизни одна-единственная забота — поиски пищи, и они кусали все, что встречалось на пути: вдруг попадет что-нибудь вкусенькое!

В то время у нас была обезьяна гвереца, взрослая самка с удивительно длинной, густой и шелковистой черно-белой шерстью и длинным, пушистым, как перо, тоже черно-белым хвостом, которым обезьяна, по-видимому, очень гордилась: она всегда старалась содержать его в чистоте и вылизывала до блеска. Однажды «бандиты» убежали из «детской» и забрели к обезьяньим клеткам — не найдется ли там чем полакомиться. Гвереца с удобством расселась, привалившись к стенке, — она принимала солнечную ванну, а ее прекрасный длинный хвост высунулся меж прутьев и свисал до земли. Один из «бандитов» заметил нечто странное, пестрое и, видно, вообразил, что оно никому не принадлежит, а существует само по себе, и потому кинулся на хвост и запустил в него острые зубы, чтобы проверить — не съедобна ли находка. Остальные двое увидели, что он что-то нашел, и мигом тоже вцепились в хвост. Несчастная обезьяна громко закричала от ярости и страха и метнулась вверх по прутьям клетки под самый потолок, но стряхнуть «бандитов» ей не удалось; они

держались цепко — не оторвешь, и чем выше влезала обезьяна, тем выше поднимались с ней «бандиты». Когда я прибежал на крик обезьяны, зверьки висели в фуते от пола, медленно раскачивались и рычали сквозь стиснутые зубы. Я несколько минут всячески убеждал их выпустить обезьяний хвост, но это мне удалось только после того, как я пустил дым от сигареты прямо им в нос и они закашлялись.

Когда «бандиты» подросли настолько, что получили собственную клетку со спальней, кормить их стало не только трудной, но и опасной работой. Едва наступало время еды, они начинали отчаянно волноваться и запускали зубы во все, что могло хоть отдаленно показаться съедобным, так что тут приходилось смотреть в оба, а не то они все руки искусают. Каждый здравомыслящий зверь ждет, когда миску с едой поставят ему в клетку; эти же прыгали в отворенную дверцу навстречу миске, выбивали ее у меня из рук и всей кучей валились на пол, отчаянно визжа от ярости и разочарования.

Под конец мне надоело смотреть, как эти рыжие ракеты вылетают из клетки всякий раз, едва я соберусь их кормить, и я придумал новый план. Во время кормежки мы подходили к клетке вдвоем и «бандиты» мгновенно кидались на прутья с громким визгом, глаза у них просто вылезали из орбит от волнения. Тогда один из нас делал вид, что открывает дверцу «спальни», и «бандиты», уверенные, что пищу кладут туда, кидались в «спальню», причем все отчаянно дрались и каждый старался прорваться туда первым. Пока они наперебой протискивались в «спальню», у нас было на все про все ровно две секунды (они мигом обнаруживали обман) — и за это время надо было успеть открыть дверцу клетки, поставить туда еду, вытащить руку и запереть дверцу. Если я проделывал это недостаточно быстро или каким-либо неосторожным движением что-нибудь задевал и случайным звуком привлекал их внимание, «бандиты» вываливались из «спальни», с визгом и писком переворачивали миску и начинали кусать без разбора все подряд — и еду, и мою руку. Все это порядком действовало на нервы.

Примерно в то же время нам принесли еще пару детенышей — прелестных и очень своеобразных. Это были поросята кистеухой свиньи, и, так же как кузиманзы, они совсем не походили на своих родителей. Взрослая кистеухая свинья, пожалуй, самый привлекательный и, несомненно, самый красочный по расцветке представитель семейства свиней. Щетина у нее яркая, ржаво-оранжевая, а вокруг пяточка темные, почти шоколадные крапинки. Большие уши оканчиваются необыкновенными, острыми, точно карандаши, пучками белейших волосков, а на спине торчком стоит такая же белая грива. Два малыша, как и все поросята, были полосатые; основной цвет темно — коричневый, почти черный, а от пяточка к хвосту тянутся широкие полосы ярко-желтой, как горчица, щетины; такая расцветка делала их похожими скорее на толстых ос, чем на поросят.

Поросенок-самец прибыл первым, он сиротливо сидел в корзинке, которую принес на голове темнокожий охотник. Поросенок явно нуждался в хорошей порции теплого молока, и я, как только расплатился за него с охотником, поскорей приготовил бутылочку и посадил малыша к себе на колени. Поросенок был величиной с китайского мопса и, как я очень скоро убедился, обладал преострыми копытцами и клыками. Он никогда еще не видел бутылочки с молоком и сразу же отнесся к ней весьма подозрительно. Когда я поднял его к себе на колени и попробовал засунуть соску ему в рот, он стал лягаться и визжать, разорвал мне копытцами брюки и старался вонзить в меня крохотные клыки. Не прошло и пяти минут, как у нас обоих был такой вид, точно мы приняли молочную ванну, но ни одной капли молока так и не попало поросенку в рот. Под конец мне пришлось зажать его между колен, одной рукой раскрыть ему рот, а другой сунуть туда соску. Едва первые капли потекли ему в горло, поросенок перестал вырываться и визжать, а через минуту уже изо всех сил тянул из бутылочки молоко. После этого с ним больше не было никаких хлопот; дня через два он совсем перестал меня бояться и, как только я подходил к его клетке, подбегал к прутьям, повизгивал и похрюкивал от радости, потом перекачивался на спину и подставлял мне толстое брюшко, чтобы я его почесал.

Второго поросенка — самочку — принесли в лагерь через неделю после первого, и по

дороге она так громко выражала свое негодование, что мы услышали ее задолго до того, как увидели охотника. Она была почти вдвое крупнее самца, и я решил на первых порах поместить их в разные клетки, чтобы она не забила малыша. Но когда я посадил ее в соседнюю с ним клетку, оба они так обрадовались друг другу, так кидались к разделявшим их прутьям, так визжали и терлись пяточками, что я передумал: их вполне можно было сразу посадить вместе. Когда они оказались в одной клетке, маленький самец подбежал к самке, громко втягивая носом воздух, и осторожно толкнул ее в бок; она фыркнула и отскочила в другой конец клетки. Он погнался за ней, и они вместе долго носились по клетке — кружили, петляли, круто поворачивали, изгибаясь и вертясь с проворством, поистине удивительным для таких дородных животных. Наконец поросята набегались досыта, излив таким образом переполнявший их восторг, глубоко зарылись в приготовленную для них грудку сухих банановых листьев и заснули. Спали они с таким храпом, точно гудел пчелиный рой в летнюю ночь.

Свинка была много старше и скоро научилась заедать молоко мелко нарубленными овощами и фруктами. Я давал им по бутылочке молока, а потом ставил в клетку неглубокую миску, наполненную этой смесью, и свинка проводила целое утро, зарывшись в еду носом, удовлетворенно чавкала, похрюкивала, посапывала, а порой мечтательно вздыхала. Малыш не понимал, чем она так занята, но его очень оскорбляло, что им пренебрегают: он подходил и толкал ее пяточком или покусывал за ноги. Под конец это ей надоело, она набрасывалась на него с яростным хрюканьем и отгоняла подальше. Поросенок не раз пытался выяснить, что же именно так привлекает ее в этой миске, но рубленые фрукты его ничуть не волновали, и он мрачно отходил и сидел в углу, одинокий и несчастный, пока она не расправлялась со всей едой. Но однажды он решил, что и ему неплохо бы поесть чего-нибудь еще, и просто-напросто начал сосать длинный хвост подружки. Он, видно, вообразил, что, если сосать достаточно долго и не жалеть усилий, можно в конце концов и из этой соски извлечь молоко. С тех пор мне не раз приходилось любоваться такой картиной: свинка зарылась носом в миску с едой, а сзади поросенок с надеждой сосет ее хвост. Ее это ничуть не беспокоило, но он сосал так старательно, что хвост у свинки вскоре облысел, и мне пришлось развести их по разным клеткам, чтобы на хвосте вновь отросла щетина; я пускал их друг к другу только дважды в день — пусть хоть немного поиграют и повеселятся.

Скучать в лагере не приходилось: ведь надо было присматривать за полусотней животных. Со всех сторон нас окружала живность всевозможных видов и размеров — от древесных лягушек до сов и от питонов до обезьян. Во всякое время дня и ночи в воздухе гудел неумолчный разноголосый хор, в нем сливались негромкое бормотанье и самые странные звуки, от безумных вскриков и хихиканья шимпанзе до нескончаемого скрипа мешетчатой крысы, которая была убеждена, что наперекор всему на свете она под конец сумеет прогрызть жестяную миску, в которой ей дают еду. В любое время дня можно было найти себе какую-то работу или подметить и записать какое-то новое наблюдение. Ниже я привожу выдержки из моего дневника за неделю; из них ясно, какое изобилие мелких, но волнующих или просто занятных случаев, которые стоит отметить, мы там наблюдали.

«Глаза молоденькой самочки белки Стейнджера изменили свой цвет: были очень красивые небесно-голубые, а стали серыми, как сталь; если потревожить белку ночью, она издает звуки, напоминающие стук заводного игрушечного поезда, когда его снимают с рельсов... Одна из древесных гадюк произвела на свет одиннадцать змеенышей: они длиной около пяти дюймов, на голубовато-сером фоне пересекаются темные, пепельно-серые полоски — по расцветке дети разительно не похожи на ярко-зеленую с белым мамашу; когда им было всего часа два от роду, они все злобно напали на подставленную палку... Большие зеленые древесные лягушки перед самым дождем медленно тикают, как часы, но стоит подойти к клетке, как они умолкают и больше уже не тикают до следующего дождя... Я обнаружил, что галаго любят цветы типа ноготков, которые растут в здешних местах; они держат цветок в одной руке, а другой обрывают лепестки и засовывают их в рот, а потом играют остатками цветка, как в волан; огромные глаза вытарщены и вид ужасно смешной...

Заметки о кормлении. Золотистая кошка обожает рубленые мозги и печенку, смешанные с сырым яйцом: подумать только, какие у иных зверей невероятные вкусы! А панголины ни за что не станут есть смесь молока с яйцом, если ее подсластить, они тогда просто перевернут миску — очень неприятно! Крыланы предпочитают неочищенные бананы: они съедают банан целиком, а кожура, видимо, предохраняет их от поноса. От перезрелых фруктов у обезьян начинается отчаянное расстройство желудка, особенно у шимпанзе — просто ужас! А крыланы съедят, и с большим удовольствием, фрукты, уже совсем загнившие (лишь бы с кожурой), и никакого вреда им от этого не будет. У болотных мангуст обилие козлятины неизвестно почему вызывает геморрой; теплым рыбьим жиром и очень легким нажатием нетрудно сразу поправить дело, но животное теряет много сил, и тут помогает капля виски на столовую ложку воды!»

Вот из таких мелочей и состояла жизнь в главном лагере, но нас эти мелочи бесконечно занимали, и дни были так наполнены, так красочны и богаты всевозможными происшествиями, что пролетали незаметно. Поэтому, когда один приятный, но не очень-то умный молодой человек, которому мы показали наш зверинец, сказал мне: «Неужели вы ни разу не стукнули хоть одну обезьяну по башке? По-моему, вот так, с утра до ночи не отходить от этого зверья — с тоски подохнешь», — я ответил ему весьма нелюбезно.

ГЛАВА XI. Лес летающих мышей

Когда я вернулся с гор в наш лагерь на реке Кросс, в моем зверинце оставался только один существенный пробел. Этот пробел для меня был особенно огорчителен, потому что не хватало крохотного зверька, которого мне хотелось поймать в Камеруне больше, чем любого другого. Английское название этого зверька — карликовая соня-летяга, а зоологи по своей привычке к легкомыслию и фамильярности называют его *Idiurus kivuensis*. Еще в Англии я без конца просиживал над рисунками и музейными чучелами этого зверька, а с тех пор как приехал в Африку, я только о нем и говорил и даже все мои помощники давно поняли, что соня-летяга — это добыча, которую я ценю превыше всего.

Я знал, что соня-летяга-сугубо ночное животное; кроме того, она величиной с маленькую мышку и потому вряд ли кто из охотников ее когда-либо видел. И я оказался прав: ни один из них не узнал рисунка. Об этом зверьке написано очень немного, мне только удалось выяснить, что они живут колониями в дуплах деревьев, причем выбирают самые глухие, труднодоступные части леса. Я рассказал все это охотникам в смутной надежде, что это их подстегнет и они поищут для меня желанную добычу. Но ничего не вышло: африканцы ни за что не станут охотиться за животным, которого они никогда не видели, по той простой причине, что они не уверены — есть ли на свете такой зверь, а значит, охотиться за ним — пустая трата времени. С такой же трудностью я столкнулся, когда искал волосатую лягушку, и потому теперь ясно понимал, что все мои рассказы о «маленькой-маленькой крысе, которая летает с дерева на дерево, как птица» с самого начала обречены на неудачу. Одно ясно: если я хочу приобрести соню-летягу, придется идти на охоту самому, и притом побыстрее — ведь времени остается в обрез. Я решил сделать своей штаб-квартирой для охоты на этого зверька деревню Эшоби; она лежала в двенадцати часах ходьбы от нашего главного лагеря, в глубине леса, и я хорошо знал ее обитателей, потому что бывал там во время моего предыдущего приезда в Камерун. Конечно, охотиться на зверька величиной с мышку, в самом сердце леса, который тянется на сотни миль, ничуть не проще, чем искать пресловутую иголку в стоге сена, но ведь как раз такие каверзные задачи и делают профессию зверолова необыкновенно увлекательной. Надежда на успех была очень невелика — пожалуй, один шанс из тысячи, — но я бодро углубился в лес.

Дорогу в Эшоби может оценить по достоинству разве только какой-нибудь претендент на звание святого, который жаждет истязать свою плоть. Больше всего она напоминает высохшее русло реки, хотя по такому пути ни одна уважающая себя река не потечет. Самыми сумасшедшими зигзагами пробирается эта дорога между деревьями, кое-где

низвергается по крутому склону в долину, пересекает небольшую речушку и снова взбирается вверх на противоположном берегу. На тех склонах, где дорога идет вниз, всегда свободно катятся камни

— огромные и поменьше, и потому спускаешься вниз гораздо быстрее, чем хотелось бы. Когда же она начинает опять подниматься вверх на противоположной стороне долины, выясняется, что камни здесь значительно крупней и лежат почти как ступеньки. Однако это коварный обман, кажется, будто сама природа положила каждый камень так хитро, что ступить с него на следующий совершенно невозможно. Все они покрыты сплошным ковром густого зеленого мха, поросли дикими бегониями и папоротником, так что перед тем, как перепрыгнешь с камня на камень, никак нельзя предвидеть, что же окажется у тебя под ногами: ровная плоскость или что-нибудь совсем неподходящее, на чем никак не устоять.

Такая дорога тянулась мили три, а потом мы пыхтя выкарабкались со дна глубокой долины — и оказалось, что лес тут ровный и наша тропка совсем гладкая, ничуть не хуже автомобильного шоссе. Она вилась и изгибалась между исполинскими деревьями, и по пути там и сям в листве над нами сквозил просвет, куда проникали солнечные лучи. На этих солнечных прогалинах сидели полчища бабочек, отогреваясь, после прохладной ночной росы. Когда мы подходили, они взвивались в воздух и летали вокруг нас — то ныряли чуть не до земли, то взмывали вверх, махали крыльями, кружили, словно опьянев от солнца. Были тут бабочки совсем крохотные, белые и хрупкие, как снежинки, а были и огромные, неуклюжие, у которых крылья сверкали, точно начищенная медь, и еще всякие, разукрашенные черным, зеленым, красным и желтым. Едва мы проходили дальше, как они вновь устраивались на солнышке и превесело там сидели, время от времени раскрывая и складывая крылья. Этот балет бабочек всегда можно увидеть на дороге в Эшоби; кроме того, бабочки — единственные живые существа, которых там можно увидеть, потому что лесные чащи вовсе не обязательно скрывают в своих глубинах опасных хищников, хотя некоторые книги очень стараются нас в этом убедить.

Мы шли по тропке примерно часа три, изредка останавливаясь, чтобы вспотевшие носильщики могли опустить Свою ношу на землю и немного отдохнуть. Наконец тропка свернула в сторону, за поворотом лес кончился, и мы очутились на главной и единственной улице деревни Эшоби. Залаяли собаки, с криком бросились врассыпную от нас куры, маленький ребенок поднялся из дорожной пыли, где он играл, и с воплем кинулся в ближайшую хижину. И вдруг, точно из-под земли на дороге возникла шумная толпа: нас окружили мужчины и мальчишки, женщины всех возрастов — все они улыбались, хлопали в ладоши и старались протиснуться вперед, чтобы пожать мне руку.

— Рады тебе, маса, рады тебе!

— Так ты приехать, маса!

— Здравствуй, маса, привет тебе!

— А-а-а! А-а-а! Маса, ты опять приехать в Эшоби!

И эта дружелюбная болтливая толпа проводила меня по всей улице, точно я был членом королевской семьи. Кто-то кинулся за стулом, и меня торжественно усадили, а все жители деревни стояли вокруг, сияли улыбками и весело кричали: «Рады тебе», по временам от избытка чувств хлопая в ладоши или в знак восторга щелкая пальцами.

Когда появились мои носильщики и повар, я все еще приветствовал старых друзей и расспрашивал об их детях и родственниках. Потом начался долгий спор насчет того, куда меня поместить, и наконец все решили, что столь почетному гостю подойдет в их деревне только одно место — недавно выстроенный танцевальный зал. Это была очень просторная круглая хижина, пол в ней был гладкий, как паркет, — его отшлифовали сотни ног, которые по нему скользили и топали. Поспешно унесли из хижины барабаны, флейты и трещотки, подмели пол, и вот я уже устроен.

Я основательно подкрепился, и тут ко мне снова сошлись все обитатели деревни: им не терпелось узнать, зачем я приехал на этот раз. Я пространно объяснил, что на сей раз останусь у них ненадолго и что мне надо поймать только одного зверька: тут я стал подробно

описывать соню-летягу. Я показал им изображенного зверька, они передавали его из рук в руки, но каждый качал головой и с сожалением признавался, что никогда такого не видал. Сердце у меня упало. Однако же я выбрал троих охотников, которые помогали мне в прошлый раз, и велел им сейчас же идти в лес, отыскать там как можно больше деревьев с дуплами и все их пометить. На другой день всем троим надо вернуться в деревню, они расскажут мне о своих успехах и отведут к тем дуплам, какие им удастся найти. Потом я спросил, умеет ли кто из присутствующих лазать по деревьям. Поднялось с десятков рук. Но это оказались очень странные любители лазать по деревьям, и я с сомнением их оглядел.

— Вы можете влезть на дерево? — спросил я.

— Да, сэр, можете, — хором ответили они, ни на секунду не задумавшись.

— А на это высокое дерево влезете? — спросил я и указал на огромное дерево, что высилось на краю деревни.

Мгновенно ряды добровольцев стали уменьшаться, и наконец остался только один, который все еще не опускал руку.

— Ты можешь влезть вон на то большое дерево? — повторил я, думая, что он меня не расслышал.

— Да, сэр, — ответил тот.

— Верно?

— Да, сэр, я можешь влезть. И еще больше тоже можешь влезть.

— Хорошо. Тогда ты завтра пойдешь со мной на охоту. Слышишь?

— Да, сэр, — ухмыльнулся доброволец.

— А как тебя зовут?

— Питер, сэр.

— Отлично. Приходи завтра рано-рано утром.

Охотники и другие жители деревни разошлись, я распаковал свое снаряжение и приготовился к завтрашнему походу. В тот же вечер вся деревня вновь сошлась к моей хижине, и все молча, стараясь не мешать, глядели, как я принимал ванну. Это было им вовсе не трудно, ибо в стенах танцевального зала с избытком хватало и окон и просто щелей. За мной наблюдали человек пятьдесят, а я намылился и с удовольствием распевал песенку, вовсе не подозревая, что на меня кто-то смотрит. Впрочем, когда я это понял, меня это ничуть не обеспокоило — я не страдаю излишней стыдливостью; лишь бы только зрители (половину их составляли женщины) молчали и не отпускали непристойных шуточек, а так — пусть глядят! Однако в эту минуту появился Джейкоб и был до глубины души потрясен возмутительным любопытством эшобийцев. Он схватил палку, яростно набросился на них, и зеваки с криком и визгом кинулись удирать во все лопатки. Отогнав их подальше, Джейкоб вернулся; он никак не мог отдышаться и все еще кипел благородным негодованием. Вскоре я обнаружил, что он не заметил еще двоих, их любопытные черные физиономии торчали в одном из окон. Я позвал Джейкоба.

— Смотри, Джейкоб, — сказал я, махнув намыленной рукой на окно. — Они вернулись!

Джейкоб взгляделся в лица за окном.

— Нет, сэр, — возразил он совершенно серьезно. — Это мой друг.

Я понял его так: деревенские жители не смеют осквернять меня своими взглядами, но личных друзей Джейкоба это не касается. И только позднее я узнал, что Джейкоб еще и делец — разогнав толпу зрителей, он тут же объявил, что тем, кто заплатит ему пенни за удовольствие смотреть, как я моюсь, он разрешит вернуться. Особенно бойко шла его торговля среди младших обитателей деревни: многие из них никогда еще не видели европейца и сразу стали заключать между собой всевозможные пари насчет того, все ли тело у меня белое.

Назавтра ни свет ни заря ко мне явились мои охотники и тот, кто вызвался влезть на любое дерево. Оказалось, что охотники нашли и отметили около тридцати деревьев с дуплами в разных уголках леса. Деревья эти, однако, находились так далеко одно от другого,

что обойти их за один день явно было невозможно, и я решил пойти сначала к самым дальним, а на обратном пути постепенно осмотреть и остальные.

Тропа, по которой мы тронулись в путь, была обычной лесной тропой, дюймов восемнадцати в ширину; она вилась и изгибалась меж деревьев, точно издыхающая змея. Вначале она вела вверх по необычайно крутому склону холма, среди громадных камней; каждый камень увенчан был островком папоротников и мха, и в зелени крохотными розовыми звездочками сияли цветы какого-то растеньица вроде первоцвета. Там и сям с деревьев кольцами спускались огромные лианы и ложились поперек нашей тропы странными узорами, извиваясь и петляя, словно исполинские питоны. На вершине этого крутого подъема земля под ногами стала ровной и плоской, и тропа спокойно повела нас меж стволами огромных деревьев. В лесу было прохладно и сумрачно: свет проникал сюда сквозь густое кружево листвы, и казалось он пронизывает воду, идешь точно по дну реки. А лес этот вовсе не путаная, непроходимая чаща кустарника, о которой часто приходится читать: тут исполинские стволы деревьев, точно колонны, отстоят довольно далеко друг от друга, а между ними растет лишь редкий подлесок: тоненькие молодые деревца и низкорослые растения словно прячутся в полумраке. Мы шли все дальше и дальше по чуть заметной тропе, прошли мили четыре, и тут один из охотников остановился и со звоном всадил свой длинный нож в ствол громадного дерева.

— Вот это дерево, он имеет дыра внутри, сэр, — объявил он.

У самого подножия дерева мы увидели щель шириной около двух футов, она шла вверх фута на три; я нагнулся и сунул голову внутрь, потом вывернулся так, чтобы взглянуть вверх по стволу. Но если там и было еще одно отверстие, его закрывал от моих глаз какой-то изгиб ствола, потому что свет сверху не проникал. Я изо всех сил втянул в себя воздух, но никаких запахов не уловил, пахло только гнилым деревом. На самом дне дупла мы нашли всего лишь немного помета летучих мышей и сухие оболочки различных насекомых. Дерево как будто не обещало ничего интересного, но я подумал, может, все-таки стоит его окурить и поглядеть, что там есть внутри.

Окуривать большое дерево, когда делаешь это редко — занятие весьма волнующее. Пока я искал соню-летягу, волнение несколько притупилось, но это просто потому, что нам приходилось окуривать по многу деревьев в день и большинство их не дало ничего интересного. Окуривать дерево — своего рода искусство и требует большого опыта, прежде чем научишься делать это как следует. Сначала надо найти дерево и убедиться, что ствол у него и вправду полый до самой верхушки: потом надо внимательно его осмотреть, проверить, нет ли выше по стволу отверстий, через которые добыча может ускользнуть, и если есть, послать охотника закрыть их сетями. После этого прикрываешь сетью главное отверстие у самого подножия дерева, но тут надо проследить, чтобы сеть не мешала окуриванию и в то же время задержала бы любого беглеца. Очень важно убедиться, что сеть расставлена достаточно надежно: уж очень досадно видеть, как она вдруг падает и тебя же запутывает в складках в ту самую минуту, когда из дупла начинает вылезать или вылетать «добыча».

Когда все сети уже на местах, остается еще одна трудная задача: огонь. В противовес известной поговорке нужно добиться только дыма и никакого огня, не то все животные попросту изжарятся. Вначале у отверстия складывают маленькую кучку сухих веток, потом обливают ее керосином и поджигают. Едва огонь разгорится как следует, на костер надо положить пригоршню зеленых листьев и непрерывно их подкладывать. Зеленые листья, сгорая, не дают никакого огня, зато вволю густого вонючего дыма, который тотчас всасывается в полый ствол дерева. Теперь надо позаботиться о том, чтобы дыма оказалось не слишком много, не то все живое внутри дерева может задохнуться, не успев выскочить наружу. Вся соль в том, чтобы не зажарить и не удушить «добычу», а суметь найти золотую середину. Когда костер уже горит и огонь заглушен зелеными листьями, минуты через три (смотря по величине дерева) дым проникает в каждую щелочку и закоулок дупла и вся живность начинает выбираться наружу.

Мы окурили наше первое дерево — оттуда вылетели крупные мотыльки и ничего больше. Мы собрали сети, погасили костер и двинулись дальше. Следующее дерево, которое поместили охотники, росло в полумиле от первого: мы добрались до него и повторили все сначала. На этот раз мы кое-чего достигли: летяг в дупле не оказалось, но кое-какая живность все-таки нашлась: первым наружу выскочил маленький геккон, красиво разрисованный шоколадными и пепельно-серыми полосами. Этих маленьких ящериц полным-полно в глубине леса, и двух-трех всегда можно застать в дупле любого дерева, которое окуриваешь. По пятам за ящерицей вылезли еще три зверька, которые в ту минуту, как они поспешно выползли из клубов дыма, напоминали большие коричневые сосиски с каемкой шевелящихся ножек по бокам: это были гигантские многоножки — большие, глупые и совершенно безвредные существа, которых в этих лесах великое множество. Дупло гнилого дерева — их излюбленная квартира, потому что они питаются гнилушками. Ясно, больше тут ничего живого не найти. Мы свернули сети, погасили костер и пошли дальше. Третье дерево оказалось совсем пустым, следующие три — тоже. Из седьмого вылетела стайка летучих мышей, и все они вырвались из отверстия на верхушке ствола как раз в ту минуту, когда Питер начал карабкаться на дерево.

Очень трудоемкий процесс — расставить сети, окурить дерево, снять сети и двинуться к следующему дереву — нам пришлось в тот день повторить пятнадцать раз; поэтому к вечеру все мы валились с ног, болели бесчисленные порезы и царапины, в горле першило оттого, что мы наглотались дыма. Настроение у нас было самое мрачное: такая незадача — мало того, что не поймали ни одной сони-летяги, но и никакой другой, хоть сколько-нибудь стоящей добычи. Когда мы подошли к последнему за этот день дереву — больше мы бы не успели окурить дотемна, — я уже настолько вымотался, что мне, право, было все равно: найдется тут соня-летяга или нет. Я присел на корточки, закурил сигарету и смотрел, как охотники готовят все, что надо. Окурили мы это дерево, и из дупла вообще ничего не показалось. Охотники поглядели на меня.

— Снимайте сети, мы идем обратно в Эшоби, — устало сказал я.

Джейкоб деловито начал снимать сеть, обернутую вокруг ствола, но вдруг замер и всмотрелся в дупло — там что-то лежало. Он нагнулся, подобрал животное и подошел ко мне.

— Маса надо такой добыча? — неуверенно спросил он.

Я глянул — и сердце у меня так и подпрыгнуло: за длинный пушистый хвост Джейкоб держал летягу, глаза у зверька были закрыты, бока тяжело вздымались. Джейкоб вложил его — весь он был с мышку величиной — в мои подставленные ладони, и я вгляделся: зверек был без сознания, видно, почти совсем задохся в дыму.

— Скорей, скорей, Джейкоб! — в страхе закричал я. — Принеси маленький ящичек. Нет, нет, не этот, покрепче... Теперь положи туда небольшой листок... небольшой листок, дурень ты этакий, а не целый куст... Ну вот, правильно.

Я почтительно положил летягу в ящик и еще раз оглядел. Зверек лежал обмякший и, видно, все еще был без сознания; дышал тяжело, с трудом, крохотные розовые лапки подергивались. Казалось, он при последнем издыхании; я схватил огромный пучок листьев и стал отчаянно размахивать им над его головой. Добрых четверть часа я таким своеобразным способом делал ему искусственное дыхание, и, к моему восторгу, зверек стал понемногу приходить в себя. Открыл затуманенные глаза, перевернулся на живот и так и остался лежать, жалкий, несчастный. Я еще немного помахал над ним листьями, потом осторожно закрыл крышку ящика.

Пока я пытался вернуть к жизни мою летягу, охотники столпились вокруг меня, все они сочувственно молчали; теперь, когда они увидели, что зверек ожил, все широко и радостно заулыбались. Мы торопливо обшарили все дупло — не валяются ли там еще полузадушенные дымом зверьки, но ничего не нашли. Это меня очень озадачило: ведь предполагается, что сони-летяги живут большим колониями и потому найти одного-единственного-по меньшей мере странно. Я от души надеялся, что учебники не врут:

поймать несколько штук из целой колонии намного легче, чем выслеживать и ловить одиночек. Впрочем, сейчас некогда было об этом раздумывать: прежде всего надо доставить мое сокровище в деревню и переселить его из маленького дорожного ящика в более подходящее помещение. Мы свернули сети и пустились в обратный путь по сумеречному лесу со всей быстротой, на какую были способны. Я держал в руках ящик со зверьком так нежно, точно нес хрупкую драгоценную вазу. и время от времени через проволочную сетку крышки ящика обмахивал зверька пучком листьев.

Когда мы благополучно добрались до моего танцевального зала, я приготовил для своей бесценной находки клетку побольше и переселил ее туда. Это оказалось не так просто — он уже вполне опомнился и бегал очень быстро. Наконец я ухитрился пересадить его в новую клетку да так, что он не только не сбежал, но даже ни разу меня не укусил. Тогда я перенес поближе к клетке самую яркую лампу и решил как следует разглядеть пленника.

Величиной он был с обыкновенную домовую мышь и вообще очень на нее походил строением тела. Прежде всего в глаза бросался его хвост: он был очень длинный (раза в два длинней всего тела) и по обе его стороны тянулась бахромка длинных, волнистых волосков, так что хвост напоминал намокшее перо. Голова у зверька большая, округлая, уши маленькие, остrokонечные, как у эльфа. Глаза черные, как смоль, маленькие и довольно выпуклые. Зубы типичного грызуна, пара огромных ярко-оранжевых резцов, выступали изо рта ровным полукругом, так что, если смотреть сбоку, казалось, что вид у него необычайно надменный. Пожалуй, самое любопытное в этом зверьке — «летательная» перепонка, которая тянется по бокам его тела. Это длинная полоса тонкой кожи, приросшая одним концом к лодыжке задней ноги, а другим — к длинному, чуть искривленному хрящевидному стержню, который выдается из передней ноги сразу над локтевым суставом. Когда зверек не летает, перепонка свернута и прижата к боку, совсем как бывает прижат к стене раздвинутый занавес в театре; когда же зверек поднимается в воздух, ноги у него вытянуты, так что перепонка туго натянута и действует наподобие крыльев планера. Позднее я убедился, как искусно соня-летяга маневрирует в воздухе даже с таким примитивным аппаратом скольжения.

В тот вечер, когда я лег спать и погасил свет, до меня все время доносился шорох — это мой новый жилец бегал по всей клетке, и я мысленно представлял себе, как он там пирует: ведь я положил ему немало разнообразной снеди. Но когда занялся рассвет и я, еще сонный, выбрался из постели взглянуть на него, оказалось, что он ничего не съел. Это меня не слишком встревожило, я знал, что некоторые только что пойманные животные подолгу отказываются от еды, пока не привыкнут немного к неволе. И никогда нельзя предвидеть, сколько будет длиться такой «пост». Это зависит не только от того, к какому виду принадлежит животное, но и от его собственного нрава и склада. Я был уверен, что в течение дня соня-летяга спустится вниз с потолка клетки, где она висела, и наестся досыта.

Когда пришли охотники, мы отправились через выбеленный туманом лес к оставшимся деревьям с дуплами. Ночной отдых и вчерашняя удача подбодрили нас, и нелегкая кропотливая работа шла теперь гораздо оживленней и веселей. Однако к полудню мы окурили и осмотрели уже с десятков деревьев и ничего не нашли. К этому времени мы забрались в самую глубь леса; деревья здесь такие великаны, каких не часто встретишь даже в западноафриканских лесах. Они стояли довольно далеко одно от другого, но все равно их тяжелые ветви переплетались над головой. Стволы почти всех этих исполинов имели по меньшей мере пятнадцать футов в поперечнике. Могучие корни их напоминали контрфорсы собора; они далеко выступали наружу, так что у основания ствола между ними вполне уместилась бы просторная комната, и только на высоте десяти с лишним футов окончательно сливались со стволом. Иные обвивались вокруг ствола — эдакие массивные, мощные вьюны толщиной с мое тело. Мы обходили этих великанов и вскоре очутились подле впадины на ровном, как паркетный пол, пространстве: здесь, в небольшой ложбинке, особняком стоял такой исполин. На краю ложбинки охотники остановились.

— Вон в тот большой дерево есть сильно большой дыра, сэр, — сказали они.

Мы подошли поближе, и я увидел в стволе между двумя высокими корневыми выступами большое отверстие с закругленным, точно арка, верхом; по размерам и по форме отверстие напоминало вход в небольшую церковь, Я остановился подле него и поглядел вверх: надо мной высился ствол, взметнувшийся прямо в небо, гладкий и голый, по крайней мере футов на двести. Ни единый сучок, ни одна ветка не нарушали гладкой поверхности этой древесной колонны. Уж лучше бы внутри ничего не было, подумал я, хоть убейте, невозможно было себе представить, чтобы кто-нибудь мог взобраться на верхушку и закрыть сетями отверстия, если они там есть. Я вошел в дупло, как вошел бы в комнату, там было очень просторно; солнечный свет мягко просачивался внутрь, и постепенно мои глаза привыкли к полумраку. Я запрокинул голову, но глаз хватал недалеко

— стенки дупла немного изгибались и мешали увидеть, что там выше. Пощупал стенки внутри, оказалось — гнилые, ствол мягкий и рыхлый. Я попробовал их ногами, убедился, что опора найдется, и по этим не слишком надежным ступеням с трудом начал взбираться наверх. Наконец я вскарабкался до выступа, который загораживал верхнюю часть дупла, изрядно вывернул шею и посмотрел, что же там дальше. Ствол был высоченный, как фабричная труба, и такой же просторный. На самом верху сквозь большое отверстие врывался сноп солнечных лучей. И вдруг я задохнулся от радости и чуть не свалился со своей ненадежной опоры: вся верхняя часть дупла была буквально выстлана, как живым ковром, летягами. Они быстро, бесшумно, как тени, скользили по гнилому дереву, а когда замирали на месте, их невозможно было разглядеть, настолько они сливались с полутьмой. Я соскользнул на землю и вышел из дупла наружу. Охотники вопросительно глядели на меня.

— Есть добыча там, внутри, маса? — спросил один.

— Да, там сколько угодно добычи. Пойдите, взгляните.

Оживленно переговариваясь и толкая друг друга, они наперебой стали протискиваться в дупло. Можно хотя бы отчасти представить его размеры, если в нем легко поместились трое охотников, Питер (тот, который лазил по деревьям) и Джейкоб. До меня донеслись их удивленные возгласы — это они увидели летяг, — затем перебранка: кто-то, наверное Джейкоб, в суматохе наступил кому-то на физиономию. Я медленно обошел дерево кругом: быть может, все-таки найдется куда поставить ногу, за что ухватиться рукой, чтобы Питер мог вскарабкаться наверх? Но ствол был гладкий, как бильярдный шар. Насколько я понимал, на это дерево влезть невозможно, и я так и сказал охотникам, когда они вылезли из дупла, и несколько остудил их радостный пыл. Потом мы уселись на землю, закурили и принялись обсуждать, что делать дальше, а Джейкоб тем временем бродил по всей ложбине и свирепо поглядывал на деревья. Наконец он вернулся к нам и заявил, что, кажется, придумал, как Питеру взобраться на верхушку дерева. Мы пошли за ним на самый край ложбинки, и тут он показал нам высокое, тонкое молодое деревце, его верхушка доходила как раз до одной из могучих ветвей нашего дерева. Джейкоб предложил: пусть Питер влезет на молодое деревце, переберется оттуда на ветку большого дерева, а потом полезет дальше вверх, пока не достигнет верхушки полого ствола. Питер подозрительно оглядел деревце и сказал, что попробует. Поплевал на руки, обхватил деревце и пополз вверх, цепляясь за кору еще и пальцами ног, гибкими, как у обезьяны. Однако, когда он добрался до середины, футах в семидесяти от земли, деревце согнулось под его тяжестью в дугу и ствол начал зловеще потрескивать. Стало ясно, что тонкое деревце не выдержит моего солидного древолаза, и пришлось ему спуститься к нам. Джейкоб, оживленный и ухмыляющийся, с важным видом подошел ко мне.

— Маса, я могу лезть этот дерево, — сказал он. — Я не жирный, не как Питер.

— Жирный! — возмутился Питер. — Это кто жирный, а? Я не жирный, просто этот дерево слабый, не может держать человека.

— Нет, ты жирный, — презрительно ответил Джейкоб. — Ты всегда набивать полный живот, а теперь маса говорить лезь на дерево, вот дерево тебя не держать.

— Ладно, ладно, — поспешно вмешался я. — Попробуй ты, Джейкоб. Смотри только, не свались! Слышишь?

— Да, сэр, — сказал Джейкоб, бегом пустился к деревцу, ухватился за тонкий ствол и пополз вверх, извиваясь, как гусеница.

Конечно, Джейкоб весил чуть не вдвое меньше Питера, и очень скоро он уже висел на самой верхушке, а деревце несколько не согнулось, хоть и раскачивалось все время плавными круговыми движениями. Всякий раз, когда верхушка его клонилась к веткам большого дерева. Джейкоб пытался схватиться за ветку, но это ему никак не удавалось. Потом он взглянул вниз.

— Маса, я не могу ухватиться, — крикнул он.

— Ладно, слезай! — закричал я в ответ.

Джейкоб быстро спустился на землю, и я подал ему конец длинной крепкой веревки.

— Привяжи к деревцу эту веревку, понял? А потом мы пригнем деревцо к большому дереву. Ну, понял?

— Да, сэр, — ликующе воскликнул Джейкоб и снова вскарабкался на деревце.

Добравшись до верхушки, привязал там веревку и крикнул нам, что все готово. Мы взяли за другой конец веревки и потянули изо всех сил; потом стали медленно отходить назад по прогалине, зарываясь ногами поглубже в мягкий, рыхлый слой листвы, устилавший землю, чтобы найти упор. Деревце постепенно склонялось, и наконец его верхушка коснулась огромной ветви большого дерева. Проворно, как белка, Джейкоб протянул руки, схватился за ветку и перебрался на нее. Мы все еще держали деревце в наклонном положении, а Джейкоб вытащил из набедренной повязки кусок веревки и привязал верхушку деревца к ветви, на которой он обосновался. Только теперь мы осторожно отпустили нашу веревку. Джейкоб уже стоял на огромной, могучей ветви во весь рост и, держась за окружающие его ветки помельче, медленно, ощупью, продвигался по ней к стволу. Шел он очень осторожно, потому что ветка, служившая ему мостками, густо поросла орхидеями, вьюнками и древесными папоротниками — в таких-то зарослях чаще всего и водятся древесные змеи. Наконец он дошел до того места, где ветка соединяется со стволом, оседлал ее и спустил нам длинную бечевку; мы привязали к ней связку сетей и несколько ящичков для добычи, которую ему удастся поймать в верхней части дупла. Джейкоб надежно привязал все это к поясу и двинулся вокруг ствола к отверстию: оно виднелось в развилке двух огромных сучьев. Скорчившись на одном из них, Джейкоб затянул отверстие сетью, расположил ящички так, чтобы они были под рукой, глянул вниз на нас с озорной ухмылкой.

— Ну вот, маса, твой охотник, он готов, — закричал он.

— Охотник! — с негодованием пробурчал Питер. — Этот повар, он называть себя «охотник»! Эх!

Мы собрали множество сухих веток и зеленых листьев и разложили костер у огромного, как камин, отверстия внизу ствола. Потом затянули отверстие сетью, зажгли костер и наложили сверху зеленых листьев. Несколько минут огонь лишь угрюмо тлел, потом тоненькая струйка дыма окрепла, и скоро внутрь гнилого дерева хлынул густой серый дым. Он поднимался все выше по дуплу, и тут я заметил еще отверстия, которых мы раньше не видели, — футах в тридцати от земли в различных местах появились струйки дыма, свивались кольцами и таяли в воздухе.

Джейкоб очень ненадежно сидел на ветке — того и гляди свалится! — и заглядывал вниз, в дупло, как вдруг сверху поднялся столб густого дыма и окутал его. Джейкоб задохнулся, закашлялся и стал осторожно передвигаться на ветке, пытаясь найти себе местечко побезопаснее. Я нетерпеливо ждал, и мне казалось, что летяги что-то чересчур долго выдерживают этот дым.

Я уж начал подумывать — может быть, они все там сразу угорели, обмерли от дыма, не успев даже попытаться убежать, и тут появилась первая летяга. Она выскочила из дупла через нижнее отверстие и хотела взлететь, но тотчас же запуталась в сетях. Один из охотников бросился к ней, чтобы вынуть ее оттуда, но я не успел прийти к нему на помощь, так как в эту минуту вся колония разом решила покинуть дупло. В большом отверстии появились штук двадцать летяг, и все они прыгнули прямо в сети. С верхушки дерева,

которую теперь скрывали от наших глаз клубы дыма, доносились восторженные вопли Джейкоба, а раза два он взывал от боли — должно быть, летяга его укусила. Тут я обнаружил, к немалому своему огорчению, что футах в тридцати от земли мы проглядели еще несколько трещин, и через эти крохотные отверстия тоже выбирались наружу летяги. Они суетливо бегали по стволу и, казалось, не замечали ни яркого солнечного света, ни нас: некоторые спускались по стволу совсем низко, так что до земли оставалось каких-нибудь футов шесть. Зверьки сновали по коре с необыкновенной быстротой, как будто не бежали, а скользили. Потом вверх взвился особенно густой и едкий клуб дыма и совсем их закрыл — и тут они решились взлететь.

Немало удивительного повидал я на своем веку, но полет летяг не забуду до самой смерти. Огромное дерево обвивали густые, подвижные столбы серого дыма, а там, где его пронизывали острые копья солнечных лучей, дым становился прозрачным и призрачным, нежно-голубым. И в эту нежнейшую голубизну кидались летяги. Они оставляли ствол необычайно легко, не готовились к прыжку, не делали какого-либо видимого усилия: вот только что зверек сидел на коре, распластав крылья, миг — и он уже летит по воздуху, крохотные лапки растопырены, перепонка на боках натянута. Они устремлялись вниз и парили в воздухе, пронизывали клубы дыма, уверенно и ловко, точно ласточки, что охотятся на мошек, невероятно искусно разворачивались и кружили, причем тело их почти совсем не двигалось. Они просто парили в воздухе и при этом поистине творили чудеса. Одна летяга оторвалась от дерева футах в тридцати от земли. Она скользнула по воздуху через ложбину прямым и ровным полетом и села на дерево футах ста пятидесяти от того, откуда взлетела, и, кажется, не потеряла за это время ни дюйма высоты. Другие взлетали с окутанного дымом ствола, скользили вокруг него по все сужавшейся спирали и наконец садились на тот же ствол ближе к земле. Некоторые облетали дерево «змейкой», — опять и опять точно и на редкость плавно описывая в воздухе букву S. Их удивительные «летные качества», потрясли меня: мне казалось, что для такого высшего пилотажа им необходимы воздушные течения, но в лесу было тихо, ни ветерка.

Я заметил: многие улетали в лес, но большинство осталось на своем стволе — они лишь ненадолго снимались и летали вокруг него, когда дым становился слишком густым. Это навело меня на мысль: я погасил костер, и, когда дым постепенно рассеялся, все летяги, которые сидели на дереве, опять торопливо забрались в дупло. Мы переждали несколько минут — пусть успокоятся и рассядутся там, а я тем временем осмотрел тех, кого мы поймали. В нижних сетях оказалось восемь самок и четыре самца; Джейкоб спустил из продымленных высей свои трофеи — еще двух самцов и одну самку. Вдобавок он поймал двух летучих мышей — я таких сроду не видел: спинка золотисто-коричневая, грудь лимонно-желтая, рыльца, как у свиней, и длинные, совсем свиные уши свисают вниз, закрывая нос.

Когда все сони-летяги вернулись в дупло, мы вновь разожгли костер, и вновь они кинулись наружу. Однако на сей раз они поумнели и почти ни одна уже не приближалась к сети, натянутой перед выходом из дупла. Джейкобу на вершине дерева повезло больше, он вскоре спустил к нам мешок, где барахталось десятка два летяг, и я решил, что этого мне хватит. Мы потушили костер, сняли сети, заставили Джейкоба спуститься вниз с его жердочки на самой верхушке (это оказалось не так-то просто, он непременно хотел переловить всю колонию), и мы отправились в обратный путь; надо было пройти лесом четыре с лишним мили до деревни. Я осторожно нес в руках драгоценный мешок, в котором пищали и барахтались зверьки, но время от времени останавливался, развязывал веревку и обмахивал их листьями, чтобы не задохнулись. Ведь мешок сшит из тонкого полотна и воздуха им, наверно, не хватает.

Уже совсем стемнело, когда, усталые и грязные, мы добрались до деревни. Я поместил моих летяг в самую большую клетку, какая только нашлась, но и она, к моему великому огорчению, оказалась явно мала для такого множества животных. Очень глупо, конечно, но я рассчитывал, что если и удастся поймать сонь-летяг, то всего двух-трех, не больше, и

по-настоящему вместительной клетки с собой не захватил. Держать их всю ночь в такой тесноте страшно — к утру многие почти наверняка погибнут; оставался единственный выход: как можно скорее переправить драгоценный улов в главный лагерь. Я написал короткую записку Смиуту: сообщал, что охота прошла как нельзя лучше и что я прибуду с добычей около полуночи, и просил приготовить для летяг большую клетку. Сразу же отослал записку, потом принял ванну и поужинал. Я рассчитал, что моя записка опередит меня примерно на час, и у Смиута вполне хватит времени выполнить мою просьбу.

Около десяти часов наш маленький караван двинулся в путь. Впереди шел Джейкоб с фонарем. За ним шествовал носильщик, на его курчавой голове покачивался ящик с летягами. Следом шел я, а за мной еще один носильщик, этот нес на голове мои постельные принадлежности. Дорога от Эшоби и при свете дня никуда не годится, а в темноте здесь немудрено сломать себе шею. Единственным источником света у нас был фонарь, который нес Джейкоб, но толку от него было не больше, чем от чахлого светлячка: он излучал ровно столько света, чтобы исказить все очертания, а тьма, окутавшая скалы, от этого неверного света становилась еще непроглядней, и нам поневоле приходилось двигаться черепашьям шагом. В обычных условиях переход занял бы около двух часов, а в этот вечер нам понадобилось пять. Почти всю дорогу я был на грани истерики — носильщик с ящиком, полным летяг, скакал и прыгал между скал, точно горный козел, и я поминутно ожидал, что он вот-вот оступится и мой драгоценный ящик полетит вниз, в пропасть. Дорога становилась все хуже, а носильщик — все храбрей, и я понял, что его падение

— всего лишь вопрос времени.

— Друг мой, — окликнул я. — Если ты уронишь добычу, мы не дойдем до Мамфе вместе. Я похороню тебя здесь.

Носильщик понял мой намек и умерил свою прыть. На полпути через небольшую речушку моя тень испугала носильщика, который шел за мной, он поскользнулся, и моя постель с громким всплеском шлепнулась в воду. И как я ни убеждал его, что в этом больше виноват я сам, носильщик был безутешен. Так мы и шли дальше: носильщик тащил на голове груз, с которого капала вода, и время от времени громко и скорбно произносил: «Ух, сэр! Извини, сэр!»

Лес вокруг нас был полон тихих голосов и шорохов: легкое похрустывание сухих веток под ногами, крик вспугнутой птицы, неумолчный стрекот цикад на стволах деревьев и порой пронзительная трель древесной лягушки. Мы пересекали прозрачные, холодные, как лед, ручьи, они тихонько плескались о большие камни, что-то им таинственно нашептывали. Один раз Джейкоб громко вскрикнул, завертелся, заплясал на одном месте, бестолково размахивая руками, так что тени от фонаря заметались меж стволов деревьев.

— Ты что, что там? — закричали носильщики.

— Муравей, — ответил Джейкоб, все еще приплясывая и вертясь. — слишком много проклятый муравей!

Джейкоб не глядел под ноги и набрел прямо на цепочку странствующих муравьев, пересекавших нам дорогу: черный поток в два дюйма шириной выливался из-под куста по одну сторону тропы и перетекал на другую сторону, подобно безмолвной речке из смолы. Когда Джейкоб на них наступил, вся эта речка словно вдруг беззвучно вскипела, и не прошло и секунды, как муравьи уже расплозились по земле, растекаясь все дальше и дальше от места нападения, точно чернильная клякса на бурых листьях. Мне с носильщиками волей-неволей пришлось сойти с тропы и обойти это место по лесу, не то разъяренные насекомые накинута бы и на нас.

Едва мы вышли из-под лесного крова в первую залитую лунным светом долину, как начался дождь. Вначале это был легкий, морозящий дождик, больше похожий на туман; потом без всякого предупреждения хлынул как из ведра, между небом и землей встала сплошная водяная стена; трава разом полегла, а наша тропа обратилась в предательский каток из красной глины. Я перепугался: вдруг моя драгоценная добыча промокнет насквозь и погибнет? Я снял куртку и обернул ею ящик на голове у носильщика. Конечно, не очень-то

надежная защита, но все-таки немного помогло. Мы с трудом брели дальше, по щиколотку в грязи, и наконец подошли к речке, которую надо было перейти вброд. Переход этот занял, должно быть, минуты три, но мне он показался бесконечно долгим, потому что русло речки было каменистое, и носильщик с летьягами на голове шатался и спотыкался, а течение всячески толкало и тянуло его и, кажется, только дожидалось случая окончательно сбить его с ног. Все же мы благополучно добрались до другого берега, и вскоре между деревьями замелькали огни лагеря. Не успели мы войти под парусиновый навес, как дождь прекратился.

Клетка, которую Смит приготовил для моих летьяг, оказалась недостаточно просторной, но мне уж было не до удобства — лишь бы поскорей вынуть их из ящика, ведь с него текло, как с только что всплывшей подводной лодки. Мы осторожно открыли дверцу и, затаив дыхание, глядели, как крохотные зверьки стремглав бегут в свое новое жилище. Я с облегчением убедился, что ни одна летьяга не промокла, хотя две-три после нашего путешествия выглядели несколько помятыми.

Мы наслаждались их видом минут пять, потом Смит полюбопытствовал:

— А что они едят?

— Понятия не имею. Та, которую я поймал вчера, вообще ничего не ела, хотя, бог свидетель, я ей предложил богатейший выбор.

— Гм, наверное, они начнут есть, когда немного освоятся.

— Да уж надеюсь, — сказал я бодро: я и в самом деле в это верил.

Мы наполнили клетку самой разнообразной пищей и питьем, какие нашлись в лагере, так что она в конце концов стала похожа на местный базар. Потом завесили ее мешковиной и оставили сонь-летьяг питаться в свое удовольствие. После того как моя постель побывала и под дождем, и в реке, она пропиталась водой как губка, и мне пришлось провести весьма неудобную ночь в садовом кресле с прямой спинкой. Я засыпал ненадолго, урывками, а когда рассвело — встал, поплелся к клетке с летьягами, откинул мешковину и заглянул внутрь.

На полу, среди совершенно нетронутой пищи и питья, лежала мертвая соня-летьяга. Остальные висели под потолком клетки, точно стая летучих мышей, и тревожно щебетали, подозрительно поглядывая на меня. Я вынул мертвого зверька, отнес его к столу, вскрыл и очень тщательно исследовал. К моему безмерному удивлению, желудок летьяги был набит полупереваренной красной кожурой ореха масличной пальмы. Этого уж я никак не ожидал: ведь эти орехи — по крайней мере в Камеруне — выращиваются на плантациях, а не растут в лесах сами по себе. Если и все остальные летьяги накануне того дня, когда мы их изловили, питались орехами масличной пальмы, им, наверно, пришлось ради этой еды добираться мили четыре до ближайшей фермы, да еще спуститься очень низко

— до нескольких футов над землей. Все это порядком меня озадачило, но теперь я хоть знал, что делать, и на следующий же вечер клетка летьяг впридачу ко всякой другой пище была разукрашена, как новогодняя елка, гроздьями красных орехов. Мы со Смитом положили зверькам еду в сумерки и затем долгих три часа вели нескончаемые разговоры о чем угодно, только не о летьягах, и старательно притворялись, будто не прислушиваемся к писку и шорохам, что доносились из их клетки. Однако после ужина мы уже не могли больше выдержать, подкрались к клетке и осторожно приподняли краешек мешковины.

Вся колония летьяг сидела на полу, и все усердно уплетали орехи. Они сидели на задних лапках, а орехи держали в крохотных розовых передних лапках, совсем как белки; проворно поворачивая орех, зверьки зубами сдирали с него красную оболочку. Когда мы приподняли мешковину, они перестали есть и уставились на нас; два-три самых робких уронили орехи и убежали наверх, под самую крышу клетки, но остальные, видимо, решили, что нас опасаться нечего, и продолжали есть. Мы опустили мешковину и проплясали вокруг палатки воинственный танец, издавая громкие, восторженные вопли. Своим криком мы разбудили обезьян, те немедленно затрещали и шумно запротестовали, поднялся несусветный гам, и из кухни со всех ног примчались мои помощники посмотреть, что тут у нас стряслось. Услышав добрую весть, что новая добыча наконец взялась за еду, они заулыбались и защелками пальцами — ведь они принимали все наши радости и огорчения очень близко к сердцу. Весь

день лагерь был охвачен унынием, потому что новая добыча не желала есть и могла помереть с голоду, но теперь все уладилось, и мои помощники, весело болтая и смеясь, вернулись на кухню.

Но радость наша оказалась недолговечной: когда утром мы подошли к клетке, две летяги лежали мертвые. И с того часа наша маленькая колония уменьшалась изо дня в день. Зверьки ели одни только пальмовые орехи и, очевидно, этого им было недостаточно. Какую только еду мы им не предлагали! Но они от всего отказывались, и это было престранно — ведь даже для самых разборчивых животных нам в конце концов всегда удавалось найти какой-то подходящий корм и понять, что они любят, надо было лишь предложить им побольше всякого на выбор. А тут стало ясно, что доставить летяг в Англию будет очень и очень нелегко.

ГЛАВА XII. Обезьянье царство

Пожалуй, самыми шумными, самыми несносными и самыми очаровательными созданиями в нашем зверинце были обезьяны. Их собралось у нас сорок штук, а жизнь под одной крышей с четырьмя десятками обезьян никак не назовешь спокойной. Взрослые обезьяны еще туда-сюда, но малыши доставляли нам уйму беспокойства и лишней работы: они громко визжали, если оставались одни, требовали бутылочек с теплым молоком в любое время дня и ночи, страдали от всевозможных детских болезней и этим пугали нас до смерти; то который-нибудь удерет из «детской» и лезет чуть ли не прямо в клетку к золотистой кошке, то кто-нибудь упадет в жестянку из-под керосина, полную воды, — одним словом, они доводили нас чуть не до истерики. Нам приходилось придумывать самые хитроумные и коварные способы, чтобы как-то управиться с малышами, и некоторые наши изобретения были поистине необыкновенны. Взять хотя бы случай с детенышами дрила: эти обезьяны в лесах Камеруна встречаются на каждом шагу, и нам постоянно приносили детенышей всех возрастов. Дрил — то самое довольно уродливое животное, которое вы можете увидеть едва ли не в каждом зоопарке мира: у него ярко-красный зад и он без стеснения предоставляет людям любоваться им. Совсем маленькие детеныши дрила — самые трогательные и самые нелепые существа на свете: они покрыты тончайшей серебристо-серой шерсткой, а голова, руки и ноги у них по крайней мере в три раза больше, чем надо бы по сравнению с туловищем. Руки, ноги и лицо ярко-красные, и крохотный зад точно такой же. А вообще кожа на теле белая, кое-где на ней виднеются большие пятна, вроде наших родимых пятен, только у них они ярко-голубого цвета. Как и у всех обезьяньих детенышей, глаза у маленьких дриллов выгаращенные, руки и ноги длинные, тощие и дрожат, как у дряхлых стариков. Теперь вы немного представляете себе детеныша дрила.

Раннее детство дрил проводит, цепляясь сильными руками и ногами за густую шерсть матери. И вот наши маленькие дрилы перенесли свои нежные чувства на нас, решив, что мы и есть их родители, и громогласно требовали, чтобы мы носили их на себе. Главное для детеныша дрила — получать как можно больше пищи, и почти столь же важно ему крепко держаться за того, кто ему эту пищу предоставляет. Но ведь когда в тебя вцепятся как репы (да притом болтливые!) штук пять маленьких дриллов, работать совершенно невозможно. И пришлось нам придумывать, как бы иначе их убаготворить. Мы отыскали две старые куртки и повесили их на спинки стульев, поставленных посреди палатки; потом мы «познакомили» с ними детенышей дриллов. Зверята привыкли видеть нас в этих куртках, к тому же ткань, должно быть, пропиталась нашим запахом, и малыши, видимо, решили, что это — нечто вроде кожи, которую мы сбросили. Они вцепились в пустые рукава, лацканы и полы курток, как будто их там приклеили, висели на них, полусонные, и лишь изредка подходили к нам — надо же когда-нибудь и поговорить, — а мы тем временем управлялись с делами по лагерю.

На многочисленных посетителей, которые приходили к нам в лагерь и осматривали зверинец, самое большое впечатление производили обезьяньи детеныши. Всеми своими

повадками детеныш обезьяны очень напоминает человеческого младенца, только он еще несравненно трогательнее. Женщины, приходившие к нам, просто таяли, глядя на маленьких обезьянок, ласково ворковали, и материнская любовь переполняла их до краев. Одна молодая женщина приходила в зверинец несколько раз, и ее так потрясло жалобное выражение на лицах маленьких обезьян, что она довольно неразумно решила прочесть мне нотацию: мол, жестоко отнимать бедных крошек у матерей и заточать в клетки. Она весьма поэтично распространялась на тему о радостях свободы и о том, сколь беззаботное счастливое существование предстояло бы этим крошкам на верхушках деревьев, а между тем по моей вине им приходится изведать все ужасы заточения.

В то утро местный охотник принес мне обезьяньего детеныша, и я предложил: раз уж молодая леди оказалась таким знатоком жизни обезьян на верхушках деревьев, не поможет ли она мне в небольшом деле, которого никак не миновать, когда берешь в зверинец новую обезьяну? Молодая особа охотно согласилась — видно, сразу представила себя в роли некоей доброй самаритянки при моих обезьянах. А небольшое дело заключалось, попросту говоря, в том, чтобы избавить обезьянку от внутренних и внешних паразитов. Я объяснил это, и молодая леди удивилась: ей и в голову не приходило, сказала она, что у обезьян бывают паразиты — кроме обыкновенных блох, конечно.

Я принес корзиночку, в которой доставили обезьянку, вынул оттуда немного помета, разложил его на чистом листе бумаги и показал моей новоявленной помощнице, какое там количество остриц. Тут она как-то странно примолкла. Потом я принес обезьянку: это была белоногая маргышка, поистине очаровательное существо — шерсть вся черная, только манишка белая, да на носу сверкает белое пушистое пятнышко в форме сердца. Я осмотрел ее крохотные руки и ноги, длинные пальцы и нашел ни много ни мало — шесть удобно пристроившихся тропических песчаных блох. Эти мельчайшие насекомые внедряются в кожу рук и ног, особенно под ногти, где кожа мягче, и там едят, жиреют и растут до тех пор, пока не станут величиной со спичечную головку. Тогда они откладывают яички и погибают; в должный срок из яичек вылупляются новые блохи и с успехом продолжают дело, начатое родителями. Если не схватиться вовремя и не начать лечить зараженную блохами обезьянку в самом начале, она может потерять сустав пальца, а в особо тяжелых случаях разрушаются все пальцы на ногах или на руках, потому что блохи все глубже проникают под кожу и размножаются до тех пор, пока не съедят свою обитель — остается только мешочек кожи, наполненный гноем. У меня несколько раз заводились эти блохи на ноге, и я могу засвидетельствовать, что это очень больно, даже мучительно. Все это я постарался как мог подробнее и нагляднее объяснить моей помощнице. Потом взял тюбик обезболивающего средства, заморозил пальцы маленького обезьяныша на руках и на ногах и стал извлекать у него из кожи блох стерильной иглой и дезинфицировать ранки, которые после этого оставались. Обезболивающее оказалось отличным, обезьянка сидела спокойно, а ведь операция эта очень болезненная.

Когда с блохами было покончено, я ощупал хвост обезьянки сверху донизу и обнаружил две припухлости в форме сосисок, каждая длиной с первый сустав моего мизинца и примерно такой же толщины. Я показал их моей помощнице, потом раздвинул в этих местах шерсть, и она увидела круглое, как иллюминатор, отверстие в конце каждой припухлости. Заглянув внутрь, можно было увидеть, что внутри шевелится какая-то белая гадость. Тут я объяснил в самых ученых выражениях, что некая лесная муха откладывает яички в шерсть различных животных и когда вылупляется личинка, она вгрызается в тело своего домохозяина и живет там, причем жиреет, как свинья в хлеву, а воздух в ее жилище поступает через эти «иллюминаторы». Когда же она, наконец, выходит оттуда, чтобы превратиться в муху, у домохозяина в теле остается дыра толщиной в сигарету, и дыра эта обычно становится гноящейся язвой. Я показал моей помощнице (которая к тому времени совсем побледнела), что вытащить эти личинки невозможно.

Я снова взял в руки иглу, раздвинул шерсть и показал молодой особе личинку, лежащую в своем укрытии, точно крохотный аэростат заграждения; однако, едва ее

коснулась игла, личинка тотчас сложилась гармошкой, затем сжалась в сморщенный шарик и скользнула подальше, в самую глубину мартышкиного хвоста. Тогда я показал моей помощнице, как все-таки извлечь такую личинку — это мой собственный способ: сунул в отверстие кончик тюрника с обезболивающим средством, выдавил туда немного жидкости, и личинка замерла. не в силах больше двигаться. Теперь я слегка расширил отверстие скальпелем, воткнул в личинку иглу и вытащил ее из убежища. Не успел я вытащить эту сморщенную, белую мерзость из ее окровавленного укрытия, как моя помощница внезапно и стремительно покинула меня. Я извлек вторую личинку, продезинфицировал зияющие отверстия, которые после них остались, и догнал молодую леди уже на другом конце лагеря. Она объяснила мне, что опаздывает на званый обед, поблагодарила за чрезвычайно интересно проведенное утро, распрощалась — и больше мы ее никогда не видели. На мой взгляд, весьма прискорбно, что люди не дают себе труда узнать получше, каково живется зверю в джунглях, — тогда бы они меньше пустословили о том, как жестоко держать животных в неволе.

Едва ли не самой очаровательной среди наших обезьянок оказался детеныш усатой мартышки, которого добыл Смит, когда ходил на охоту в глубь страны. Таких крохотных мартышек я еще не видывал: если бы не длинный изящный хвост, она вся преспокойно уместилась бы в чайной чашке. Спина у нее зеленовато-серая, манишка белая, на щеках-ярко-желтые пятна. Но самое примечательное — лицо: по всей верхней губе тянется широкая волнистая совсем белая полоска, и кажется, будто у обезьянки солидные седые усы. Рот у детеныша не по росту огромный — в него легко влезла соска бутылочки с молоком.

Презабавно было видеть, как кормится этот крохотный усатый звереныш: когда ему приносили бутылочку, он кидался к ней, пронзительно повизгивая от радости, плотно обхватывал бутылку ногами и руками и так и лежал, закрыв глаза, и изо всех сил тянул молоко. Выглядело это так, будто его вскармливает большой белый дирижабль — ведь сам он был втрое меньше бутылочки. Детеныш оказался очень смышленным, и мы вскоре научили его пить молоко из блюдца. Малыша приносили и сажали на стол; завидев блюдце, он впадал в настоящую истерику от волнения, трясся, дергался и визжал что есть силы. Как только блюдце ставили перед ним, он кидался в него головой вперед, точно нырял, погружал в молоко всю рожицу и высовывался, только чтобы глотнуть воздуха, когда уже не мог больше не дышать. Иногда жадность его одолевала, и он оставался без воздуха слишком долго — тогда на поверхности молока появлялись пузыри, а уж потом выныривала физиономия; детеныш кашлял, отфыркивался, брызгая молоком на стол и на самого себя. Порой во время кормежки он вдруг решал, что я стою рядом с единственной целью — улучшить минуту и отнять у него блюдце: тогда он издавал яростный вопль и срывал мой коварный замысел очень простым способом: подпрыгивал высоко в воздух, с громким всплеском приземлялся в самой середине блюдца и оставался сидеть тут, торжествуя сверкая на меня глазами. Во время еды он ухитрялся так залить молоком всю физиономию, что уже не разобрать было, где начинались и где кончались его усы, а стол выглядел так, будто на нем доили здоровенную корову.

Самыми трудными характерами в нашем собрании обезьян отличались, несомненно, два шимпанзе — Мэри и Чарли. Прежде чем попасть к нам, Чарли был любимцем одного плантатора и оказался уже довольно ручным. Маленькая рожица его, вся в морщинах, казалась бесконечно печальной, карие глаза смотрели кротко; всем своим видом он словно говорил, что мир к нему жесток и несправедлив, но он всем прощает и не жалуется. Однако эта видимость уныния и скорби — чистейший обман: на самом деле Чарли отнюдь не обиженная, непонятая обезьяна, а самый настоящий уличный хулиган — мальчишка, лживый и хитрый.

Мы каждый день выпускали его из клетки погулять, и он бродил по всему лагерю с лучезарно-невинной миной, стараясь усыпить нашу бдительность и уверить нас в чистоте своих намерений. А потом как бы случайно подходил к столу, где разложена пища, быстрый взгляд вокруг — не видит ли кто?-и хват! В руке у Чарли самая большая связка бананов, и

он уже мчится к ближайшему дереву. Если за ним гнались, он бросал бананы и останавливался. Его ругали, а он сидел в пыли и скорбно глядел на своего обидчика — воплощение оскорбленной невинности! Сразу видно: его понапрасну заподозрили в гнусном преступлении, но он чересчур благороден и не станет оправдываться, раз уж вы до того тупы, что сами не понимаете, сколь нелепа и несправедлива эта напраслина. Попробуйте помахать у него перед носом украденной связкой бананов, и он взглянет на вас слегка удивленно и чуть брезгливо. Дескать, с чего вы взяли, что он украл эти бананы? Неужели вы не знаете, что он терпеть не может бананов? Никогда за всю его жизнь (посвященную благотворительности и самоотречению) у него не появилось ни малейшего желания хотя бы отведать эти мерзкие фрукты, а уж о том, чтобы их украсть, он и помыслить не мог. Когда мы кончали ему выговаривать, Чарли поднимался с земли, глубоко вздыхал, бросал на нас взгляд, в котором сострадание смешивалось с отвращением, и вприпрыжку отправлялся на кухню взглянуть, нельзя ли что-нибудь стащить и там. Чарли был совершенно неисправим, а мордашка у него была столь выразительная, что он мог поддерживать нескончаемые разговоры и для этого вовсе не нуждался в членораздельной речи.

Мэри — подружка Чарли — отличалась совсем другим характером. Она была старше Чарли и много крупнее, ростом с двухлетнего ребенка. Прежде чем мы ее купили, она побывала в руках торговца из племени хауса, и, наверно, там ее дразнили и вообще плохо с ней обращались: должно быть, именно поэтому вначале обезьянка сидела мрачная и злобная, и мы уже начали тревожиться, удастся ли нам в конце концов завоевать ее доверие — ведь она научилась не доверять ни одному человеку, будь то черный или белый. Однако после того, как несколько месяцев ее хорошо кормили и ласково с ней обращались, она, к великой нашей радости, совсем преобразилась: теперь это была очаровательная шимпанзе, неизменно веселая и наделенная редкостным чувством юмора. Светло-розовая мордочка ее казалась глуповатой, а живот был толстый и круглый, как барабан. Она напоминала толстушку-официантку в баре, всегда готовую громко расхохотаться над какой-нибудь непристойной шуточкой. Когда Мэри узнала нас получше и научилась нам доверять, она придумала фокус, который явно считала очень потешным. Она откидывалась на перекладине в клетке, с трудом удерживая равновесие, и обращала ко мне самые неподходящие части тела. Теперь мне полагалось нагнуться поближе и изо всех сил дунуть — тут Мэри визгливо хохотала и скромненько прикрывалась руками. Потом лукаво взглядывала на нас поверх толстенького брюшка, убирала руки и ждала, что я еще раз посмею ее тем же способом. Мы называли это «обдывать бесстыдницу Мэри», и сколько бы раз в день ни повторялась эта шутка, обезьяне она никогда не приедалась: Мэри запрокидывала голову, широко раскрывала рот, обнажая розовые десны и белые зубы, и прямо-таки заходила от хохота.

Хоть Мэри и относилась к нам со Смитом и ко всем нашим помощникам очень нежно, она никогда не забывала, что у нее есть зуб против африканцев, и вымещала свою вражду на всех чужих, которые появлялись в лагере. Она зазывно им улыбалась, била себя в грудь или крутила сальто — она была готова на все, лишь бы привлечь их внимание. Разнообразными уловками она заманивала посетителя все ближе к клетке и казалась ему воплощением веселья и доброжелательности, а сама зоркими глазами точно определяла расстояние. Внезапно сквозь прутья высовывалась длинная, сильная рука, слышался громкий треск рвущейся ткани, испуганный вопль застигнутого врасплох гостя — и вот уже Мэри торжествующе пляшет в клетке, размахивая разорванной рубашкой или фуфайкой, которую сорвала со своего восторженного поклонника. Силой она обладала необыкновенной, и мне пришлось истратить кругленькую сумму на возмещение убытков от ее шалостей, поэтому вскоре я переставил ее клетку так, чтобы Мэри не могла больше развлекаться подобным способом.

Обезьянник шумел непрерывно весь день, но ближе к вечеру, около половины пятого, шум нарастал настолько, что не выдерживали даже самые крепкие нервы: в это время обезьянам давали молоко. Часа в четыре они начинали проявлять нетерпение — принимались прыгать и скакать по клеткам, крутили сальто или прижимались лицом к

прутьям и жалобно повизгивали. А как только появлялись чистые миски и огромные керосиновые бидоны с теплым молоком, солодом, рыбьим жиром, сахаром и кальцием, все клетки захлестывало волнение и нарастающий гомон совсем оглушал. Шимпанзе протяжно ухали сквозь губы и стучали по стенкам клетки кулаками; дрилы выкрикивали свое пронзительное «ар-ар-ар-ар-иририп!», точно крохотные пулеметы; белоносые и усатые мартышки тихонько посвистывали и совсем по-птичьи издавали переливчатые трели; красные мартышки плясали, как сумасшедшие балерины, и заунывно кричали «прруп! прруп!». а красавцы гверцы с развевающейся черно-белой гривой строго и повелительно звали: «Арруп! Ар-руп, йи, йи, йи, йи!» Мы двигались вдоль клеток, вталкивали в них миски с молоком, и шум понемногу стихал: под конец слышалось уже только похрюкивание, чмоканье да изредка случайный кашель, если молоко попадало не в то горло. Опустошив миски, обезьяны взбирались на свои жердочки и сидели там, выпятив раздувшиеся животы, и время от времени громко, удовлетворенно рыгали. Через некоторое время все они спускались вниз на пол, осматривали миски и убеждались, что в них нет больше молока; иногда они даже поднимали миски и оглядывали доньшко с обратной стороны — нет ли там каких-нибудь остатков. Потом они обычно свертывались калачиком на своих шестах и впадали в блаженное состояние оцепенения в лучах вечернего солнца — и тогда на лагерь нисходили мир и покой. Особенно мне нравится в обезьянах то, что они совершенно чужды условностей и делают все, что им придет в голову, не испытывая ни малейшего смущения. Они обильно мочились или опорожняли кишечник и, нагнувшись, следили за тем, как это происходит, причем на их физиономиях отражался живейший интерес. И спариваются они, нимало не стесняясь глазающей публики. Я сам слышал, как смущенные зрители называли обезьян грязными, непристойными животными, потому что они простодушно отправляют свои естественные потребности, не интересуясь — смотрят на них или нет, и, право же, не могу понять, с какой стати люди возмущаются. В конце концов, это мы, с нашим высшим разумом, решили, что совершенно естественные потребности нашего организма — нечто грязное и неприличное, а обезьяны не разделяют нашу точку зрения.

ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ, в которой мы «ехать хорошо»

Последние несколько дней перед тем, как мы со своим зверинцем ступим на борт парохода, который отвезет нас обратно в Англию, всегда оказываются самыми лихорадочными за всю поездку. Предстоит сделать тысячу дел: нанять грузовики, укрепить клетки, купить и упаковать в корзины великое множество пищи для зверей — и ведь все это сверх обычной работы по уходу за ними.

Едва ли не больше всего нас заботили сони-летяги. Наша колония с каждым часом таяла, в ней осталось всего-навсего четыре зверька и мы решили во что бы то ни стало довести их до Англии. После сверхчеловеческих усилий нам удалось заставить их есть наряду с орехами масличной пальмы плоды авокадо. На этой диете они как будто чувствовали себя совсем недурно. Я решил, что если мы возьмем с собой три десятка авокадо различной зрелости, от вполне спелых до зеленых, их должно хватить на все путешествие и даже еще немного останется на первое время в Англии, пока летяги свыкнутся с новыми условиями. Итак, я позвал Джейкоба и велел ему достать поскорей три десятка авокадо. К моему изумлению, он посмотрел на меня как на сумасшедшего.

— Авокадо, сэр? — переспросил он.

— Да, авокадо, — подтвердил я.

— Я не могу его достать, сэр, — горестно сказал Джейкоб.

— Не можешь достать? Почему же?

— Авокадо, он кончится, — беспомощно пояснил Джейкоб.

— Кончились? Как это кончились? Я же не на кухню тебя посылаю, сходи на базар и купи.

— И на базар он тоже кончился, сэр, — терпеливо объяснил Джейкоб.

И вдруг я понял, что он пытается мне втолковать: сезон авокадо прошел, их больше нигде нельзя достать. Придется мне пуститься в путь без запаса фруктов для моих драгоценных летяг.

«Как это на них похоже! — подумал я с горечью. — Уж начали наконец что-то есть, так выбрали именно то, чего больше нельзя раздобыть!» Как бы то ни было, без этих плодов мне не обойтись, и за те несколько дней, что еще оставались в нашем распоряжении, я собрал всех своих помощников и велел им прочесать окрестности — может, где-нибудь все-таки отыщутся авокадо. К самому нашему отъезду нам удалось наскрести несколько маленьких, сморщенных плодов, и это было все. Этими почти высохшими остатками фруктов предстояло прокормить моих драгоценных летяг до самой Англии.

От нашего лагеря до побережья было около двухсот миль, и для перевозки зверинца нам понадобились три грузовика и небольшой фургон. Ехали мы ночью, чтобы животным было не так жарко, и на этот переезд у нас ушло два дня. Более тяжелого путешествия мне не припомнить. Каждые три часа приходилось останавливаться, вытаскивать все ящики с лягушками и поливать их холодной водой, чтобы лягушки не высохли. Дважды в ночь надо было делать более длительные остановки и поить детенышей из бутылочек теплой молочной смесью, которая была заранее приготовлена в термосах. А с рассветом надо было поставить грузовики в стороне от дороги, в тень огромных деревьев, выгрузить на траву все клетки до единой, каждую вычистить и накормить каждое животное. Наутро третьего дня мы добрались до маленькой гостиницы на побережье, которую заранее предоставили в наше распоряжение: здесь снова пришлось все распаковать, вычистить клетки и накормить зверей, и уж только после этого мы без сил вползли в дом, немного поели и рухнули в постель. Но в тот же вечер стали толпами стекаться любопытные с местной банановой плантации — им непременно хотелось поглядеть на наших животных, и, сонные, полумертвые от усталости, мы вынуждены были водить экскурсии, отвечать на вопросы и соблюдать хоть какую-то вежливость.

— Вы едете тем пароходом, что стоит сейчас в порту? — спросил кто-то.

— Да, — сказал я, подавляя зевок. — Завтра отплываем.

— Бог ты мой! В таком случае вас можно только пожалеть, — сказали мне весело.

— Вот как? Почему же?

— Капитан — настоящий варвар, дружище, и терпеть не может животных. Это уж точно. Старик Робинсон, когда в последний раз ехал в отпуск на этом пароходе, хотел взять с собой ручного бабуина. А капитан уперся — и ни в какую. Ни за что не хотел взять обезьяну на борт. Не желаю, мол, набивать свой пароход вонючими мартышками. Говорят, был страшный скандал.

Мы со Смитом обменялись тревожными взглядами: ведь из всех несчастий, какие выпадают на долю зверолова, кажется, ничего нет хуже, чем капитан, который не любит животных. Позднее, когда последние посетители ушли, мы обсудили эту тревожную новость. И решили, что единственный выход — превзойти самих себя и всячески угождать капитану, а особенно позаботиться о том, чтобы обезьяны вели себя примерно и никакими неподобающими поступками его не прогневали.

Наш зверинец погрузили на переднюю палубу под присмотром старшего помощника, премилого человека, который очень старался нам помочь. Капитана мы в тот вечер не видели, а на следующее утро, когда мы поднялись спозаранку и принялись чистить клетки, он шагал взад и вперед по мостику, сутулый и мрачный. Нам сказали, что он спустится к завтраку, и мы с трепетом ожидали первой встречи.

— Не забудьте, — сказал Смит, когда мы чистили клетки обезьян, — его надо все время гладить по шерстке.

Он набрал полную корзину опилок, подбежал к борту и высыпал опилки в море.

— Главное, постараемся ничем его не раздражать, — продолжал он, вернувшись ко мне.

И в эту минуту к нам, задохнувшись от спешки, прибежал с мостика матрос в

белоснежной робе.

— Извините, сэр, — сказал он, — капитан вам кланяется и просит, когда выбрасываете за борт опилки, сперва посмотрите, в какую сторону дует ветер.

Мы в ужасе взглянули на мостик: в воздухе кружились опилки, и, обсыпанный ими, капитан, сердито хмуря брови, отряхивал свой китель.

— Пожалуйста, передайте капитану наши извинения, — сказал я, с трудом удерживаясь от смеха.

Матрос ушел, и я повернулся к Смигу.

— Гладить его по шерстке!-с горечью воскликнул я. — Ничем его не раздражать! Всего лишь выбросили добрых три центнера опилок на него самого и на его драгоценный мостик! Да уж, что и говорить, на вас можно положиться: вы знаете верный путь к сердцу капитана!

Когда раздался гонг, мы поспешили к себе в каюту, умылись и заняли свои места в кают-компании. К нашему отчаянию, оказалось, что капитан посадил нас за свой стол. Сам он сидел спиной к переборке, в которой было три иллюминатора, а мы со Смитом — напротив него за круглым столом. Иллюминаторы за спиной капитана выходили на палубу, где размещался наш зверинец. К середине завтрака капитан немного оттаял и даже попытался острить насчет опилок.

— Я вообще-то не против вашего зверинца, только смотрите, чтобы никто у вас не удрал из клетки, — сказал он весело, расправляясь с яичницей.

— Ну, этого мы не допустим, — заверил я и едва успел договорить, как в иллюминаторе что-то мелькнуло, я взглянул туда и увидел Любимчика, черноухого бельчонка; он сидел в круглом открытом оконце и снисходительным взором осматривал внутренность кают-компания.

Капитан, конечно, не мог видеть бельчонка — тот сидел на уровне его плеча, в трех шагах от него — и продолжал спокойно есть и разговаривать, а Любимчик сидел на задних лапках и чистил свои усы. На несколько секунд я остолбенел от ужаса, голова моя отказывалась работать, я только сидел как дурак и глазел в иллюминатор. По счастью, капитан был слишком занят своим завтраком и ничего не замечал. Любимчик кончил умываться и чиститься и снова принялся оглядывать кают-компанию. Видно, под конец он решил, что это место все же стоит исследовать повнимательней, и теперь озирался вокруг, соображая, каким бы путем поудобнее спуститься со своего насеста. И нашел, что проще всего прыгнуть из иллюминатора прямо на плечо капитану. Я отчетливо видел, как этот план созревает в голове маленького разбойника, и мысль, что он сейчас прыгнет, пронизала меня, как током, и побудила действовать. Я поспешно пробормотал: «Простите», оттолкнул свой стул и вышел из кают-компания. Как только я оказался в коридоре и капитан уже не мог меня видеть, я со всех ног бросился к клеткам. К моему немалому облегчению, Любимчик еще не прыгнул — его длинный пушистый хвост все еще свисал из иллюминатора. И в ту секунду, когда он уже пригнулся для прыжка, я кинулся к нему и успел схватить за хвост. Я отнес его в клетку — от негодования он громко верещал — и разгоряченный, но торжествующий вернулся в кают-компанию. Капитан все еще о чем-то говорил, и если он даже заметил мое поспешное бегство, то, наверно, приписал его коликам в желудке, ибо не сказал об этом ни слова.

На третий день нашего плавания две сони-летяги оказались мертвыми. Я с грустью рассматривал их тела, когда появился какой-то матрос. Он спросил, отчего умерли зверьки, и я пространно поведал ему трагическую историю с плодами авокадо, которых нигде нет.

— А что это за фрукты? — спросил матрос.

Я показал ему один из оставшихся сморщенных плодов.

— А, эти? — удивился он. — Они вам нужны?

Я уставился на него, не в силах выговорить ни слова.

— А у вас они есть? — спросил я наконец.

— Ну, у меня-то нет, — сказал он, — но я вам, пожалуй, достану.

В тот же вечер он опять явился, карманы у него оттопыривались.

— Вот, — сказал он и сунул мне в руки несколько прекрасных, зрелых авокадо. — Дайте мне три штуки ваших, только никому ни слова.

Я дал ему три высохших плода, поскорей накормил летяг зрелыми, которые он мне принес, и зверьки вволю ими насладились. Настроение у меня поднялось, и я опять стал надеяться, что все-таки доставлю летяг в Англию.

И всякий раз, когда бы я ни сказал ему, что запас фруктов истощается, мой друг матрос приносил мне сочные, зрелые плоды и брал взамен сухие. Это было очень странно, но я чувствовал, что лучше не стараться вникнуть в это глубже. Все-таки, несмотря на свежие фрукты, еще одна летяга погибла и, когда мы плыли по Бискайскому заливу, у меня оставалась только одна. Теперь все решало время: если мне удастся сохранить этот единственный экземпляр в живых до самой Англии, я смогу предложить зверьку огромный выбор пищи и, конечно, найдется что-нибудь ему по душе. Берега Англии приближались, и я внимательно следил за летягой. Казалось, все хорошо: она вполне здорова и отлично настроена. Осторожности ради я ставил ее клетку на ночь к себе в каюту, чтобы зверек случайно не простудился. Накануне того дня, когда мы вошли в гавань, летяга была в наилучшем виде, и я уже верил, что все-таки доведу ее до дому. В ту же ночь, без всякой видимой причины, она вдруг умерла. Итак, последняя летяга проехала четыре тысячи миль и умерла всего за сутки до Ливерпуля. Я был в отчаянии, и ничто не могло меня утешить.

Даже когда мой зверинец снимали на берег, я не испытывал обычного в таких случаях чувства облегчения и гордости. Волосатые лягушки перенесли путешествие благополучно, сухолистки тоже; Чарли и Мэри весело ухали в своих клетках, когда их спускали за борт. Любимчик грыз сахар и разглядывал толпу на пристани с явной надеждой поразвлечься, а усатая мартышка высовывала нос сквозь прутья клетки, усы ее сверкали и она напоминала молодого Санта-Клауса. Но даже глядя, как всех их благополучно спускают на берег после столь долгого и опасного путешествия, я не радовался по-настоящему: все они не могли возместить мне потерю маленькой летяги. Мы со Смитом уже собирались сойти с корабля, и тут появился мой друг матрос. Он слышал про смерть летяги и очень огорчился, что наши с ним усилия оказались тщетными.

— Кстати, — сказал я, уже прощаясь, — мне очень любопытно узнать, откуда вы доставали авокадо посреди океана?

Матрос быстро оглянулся — не слышит ли нас кто-нибудь.

— Я вам скажу, приятель, только никому ни полслова, — сказал он хриплым шепотом. — Капитан очень любил авокадо, понятно? И у него в холодильнике стоял большой ящик. Он всегда привозит такой ящик домой, понятно? Вот я и взял малость для вас.

— Значит, это были фрукты капитана? — растерянно спросил я.

— Ну, ясно. Но он ничего не заметит, — весело заверил меня матрос. — Понимаете, я, когда брал их из ящика, каждый раз клал туда столько же ваших.

Таможенники никак не могли понять, почему я трясся от хохота, когда показывал им наши корзины, и все поглядывали на меня с подозрением. Но, к сожалению, шутка была не из тех, какими можно с кем-нибудь поделиться.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Джеральд Даррелл — ученый, писатель, общественный деятель.

Когда читаешь книгу, и особенно когда она тебе нравится, всегда хочешь побольше узнать об авторе, о его жизни, его взглядах, его работе и планах. Книги Джеральда Даррелла очень популярны у нас, и многим, вероятно, будет интересно поближе познакомиться с этим поистине замечательным человеком.

Джеральд Даррелл — англичанин, но родился он не в Англии, а в Джемшедпуре, в Индии, в 1925 году. Он рано потерял отца, и ему было три года, когда семья вернулась в 1928 году в Англию. Климат Англии оказался неподходящим для маленького Джерри, его

двух старших братьев и сестры. К этому прибавились финансовые затруднения, и в 1933 году семья Дарреллов перебралась сначала на континент, а затем в 1935 году обосновалась на небольшом островке Корфу в Средиземном море. Именно здесь неосознанная тяга к животным, проявившаяся у Джерри с первых дней жизни, оформилась и превратилась в путеводную нить, которая определила всю дальнейшую жизнь зоолога и писателя Джеральда Даррелла. Остров Корфу с его мягкими, ласковыми, залитыми солнцем пейзажами, с белоснежными пляжами и темно-зелеными пятнами виноградников, с серебристыми рощами олив, с меловыми горами и лазурным небом оказался той средой, где на смену чисто эмоциональной, подсознательной склонности маленького мальчика пришла любознательность, потребность в точных наблюдениях, в эксперименте и, наконец, в обобщении, в элементарном синтезе, что свойственно уже истинному натуралисту. И хотя фауна Корфу небогата, и Джерри не мог тогда и предполагать, с какими интересными животными встретится он впоследствии и какие увидит страны, можно смело говорить, что как зоолог и борец за сохранение животных на Земле Джеральд Даррелл родился именно на Корфу.

По возвращении в Лондон, Даррелл, еще будучи подростком, был вынужден искать работу. И он нашел работу по вкусу: он стал продавцом в зоологическом магазине. Не очень блестящая и перспективная должность, но она представляла возможность общаться с животными, а это было главным для юноши. Кроме того, он мог посещать колледж и получил доступ к библиотекам. До сих пор Джеральд Даррелл вспоминает этот этап своей жизни с теплотой и благодарностью судьбе.

По окончании колледжа вопрос о будущем, о «настоящей» работе снова всплыл на повестку дня. Теперь нужно было всерьез зарабатывать на жизнь. И снова Джеральд Даррелл выбирает единственно возможный для него вариант: он отправляется в пригородный лондонский зоопарк Уипснейд и нанимается туда простым рабочим по уходу за животными. Он снова строит жизнь так, чтобы быть постоянно с животными.

Работа в зоопарке не только расширила кругозор Даррелла, он научился там обращению с крупными, подчас опасными животными, освоил методы их содержания, кормления, разведения. Все это очень понадобилось ему в будущем.

Работа в зоопарке Даррелла полностью не удовлетворяла, хотя Уипснейд — один из лучших зоопарков мира: животные там живут в сравнительно нетесных вольерах, но Дарреллу хотелось увидеть их в родной стихии, на их родине. Поэтому он с восторгом принимает предложение отправиться в Западную Африку, в Камерун. Целью этой экспедиции был отлов животных для зоопарка. Можно ли было мечтать о большем?

Результаты экспедиции превзошли, однако, все ожидания. Поездка в Камерун произвела на Даррелла такое сильное впечатление, что по возвращении в Европу он ощущает непреодолимую потребность рассказать о ней. Так появилась его первая литературная проба — книга «Перегруженный ковчег». Книга имела колоссальный успех и была распродана буквально в несколько дней. Она сразу и бесповоротно сделала молодого безвестного любителя животных знаменитостью, всеобщим любимцем, показала, что в нем заложен незаурядный талант писателя. Можно смело сказать, что уже в «Перегруженном ковчеге» Джеральд Даррелл создал свой собственный стиль, совершенно законченный и необычайно привлекательный. Во всяком случае была сделана серьезная заявка на рождение нового писателя.

Поездка в Камерун оказалась лишь прологом к серии замечательных путешествий. В 1948 году Даррелл совершает вторую экспедицию в Африку, затем едет в Южную Америку: в Гвиану, Парагвай, Аргентину. А далее следует новая поездка в Африку, по знакомым уже местам. Из каждой поездки Даррелл помимо коллекций привозит массу новых идей и впечатлений. И эти впечатления не остаются мертвым капиталом. О каждой из своих экспедиций Даррелл пишет книги: за «Перегруженным ковчегом» появляются «Гончие Бафута», потом «Земля шорохов», «Под пологом пьяного леса», «Зоопарк в моем багаже». И с каждой новой книгой все больше растет популярность и мастерство Джеральда Даррелла.

На первых порах роль «охотника за живыми животными» полностью устраивала Даррелла. Однако ее неизбежно отравляла ложка дегтя: после экспедиции, когда к каждому из привезенных животных он успевал привязаться, с ними приходилось расставаться. Это было так несправедливо, так тягостно! Выход был один, и он был ясен с самого начала: нужен собственный зоопарк. И вот после долгих поисков, неудач и огорчений в 1959 году Даррелл его основал. На небольшом участке земли, арендованном на острове Джерси (один из Нормандских островов), были размещены первые клетки и вольеры. Отныне Даррелл ловил зверей для себя. Правда, сразу же возникли финансовые затруднения, но Даррелл стал тратить на содержание и пополнение зоопарка весь гонорар за свои книги, и молодой зоопарк постепенно окреп.

Создавая зоопарк, Даррелл стремился не только избавиться от необходимости расставания с полюбившимися ему животными. Были у него и другие, более важные цели. Поэтому Джерсийский зоопарк стал не простым зоопарком. Дело в том, что в это время Даррелл начинает все большее внимание уделять судьбе животных в широком плане, их будущему, которое к середине XX столетия окрасилось в самые мрачные тона. Многие животные оказались на грани полного уничтожения. В связи с этим пришлось пересмотреть современную роль зоопарков: именно в зоопарках, и только в зоопарках, может быть сохранен резерв (или, как сейчас говорят, «банк») размножающихся животных тех видов, на спасение которых в естественных условиях почти не осталось надежд. Со временем при благоприятных условиях такой резерв может стать исходным материалом для повторного расселения, для восстановления угасших видов в тех местах, откуда их вытеснил человек. Так была спасена от гибели нене, небольшая казарка с Гавайских островов; так «воскрес» огромный дикий бык — зубр; так, собственно говоря, получил возможность сохраниться американский журавль, жемчужина среди птиц мира; так спаслись еще несколько видов птиц и зверей. Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП) придает этому методу особое значение, и Джеральд Даррелл был одним из первых, кто применил его на практике, кто в качестве основной, главной задачи зоопарка признал работу по созданию резерва, «банка» редких животных.

Первые опыты и успехи Джерсийского зоопарка привлекли внимание официальных учреждений и некоторых частных лиц, занимающихся вопросами охраны природы. Были собраны необходимые средства, в основном за счет Международного фонда охраны животных и Общества охраны животных, и зоопарк был преобразован в Джерсийский трест охраны животных. Его почетным президентом стала английская принцесса Анна, а директором, разумеется, Джеральд Даррелл. И сейчас Джерсийский трест с успехом работает над проблемой сохранения редких и исчезающих животных. Надо сказать, что Даррелл не просто директор, он душа треста, и все гонорары за книги он по-прежнему передает на его укрепление.

Заслуги Даррелла в области охраны редких видов животных получили должное признание. В 1972 году состоялась первая конференция, которая подвела итоги международных усилий по созданию в зоопарках резерва редких животных. Местом проведения конференции был избран Джерси. И это не случайно: к этому времени трест заслужил отличную репутацию.

В своей вступительной речи на открытии конференции Даррелл подчеркнул, что, несмотря на определенные успехи в разведении редких животных, впереди ожидаются серьезные трудности. Неясны еще перспективы самого последующего процесса «репатриации» привыкших к условиям неволи животных; неизвестно, не скажется ли отрицательно длительное скрещивание близкородственных индивидуумов; не нарушится ли целостность генофонда; да и многое другое, что нельзя предсказать, может отразиться неблагоприятно. Однако Даррелл выразил надежду, что трудности в конце концов будут преодолены, и на заключительной экскурсии продемонстрировал ряд крайне интересных примеров накопления резерва видов, которым угрожает исчезновение. Работа Джерсийского треста продолжается, и нам остается только пожелать успеха сотрудникам этих учреждений.

Однако сам Джеральд Даррелл прекрасно понимает, что одним созданием подобных питомников судьбы животных не изменить. Земля принадлежит людям, она будет неуклонно меняться, и поэтому очень важно пробудить в людях чувство ответственности за животный мир нашей планеты. А чувство ответственности рождается из любви, из знания. Поэтому все книги Джеральда Даррелла, от первой до последней, посвящены этой задаче — заставить человека по-новому взглянуть на природу, на существа, ее населяющие, заставить его полюбить «младших братьев» и кое-чем, хотя бы немногим, поступиться ради их спасения, ради того, чтобы сохранить Землю во всей ее красоте и богатстве. Каждая книга Даррелла — это прекрасный пример активной, действенной, настойчивой пропаганды.

Даррелл не ограничивался книгами. Он выступает по телевидению, читает доклады о животных по радио, снимает о них фильмы.

В 1962 году Джеральд Даррелл по поручению Международного фонда охраны животных совершает поездку в Новую Зеландию, Австралию и Малайю, знакомится с состоянием охраны природы этих стран. Почти везде видит он тревожную картину: жадность и равнодушие превращают в пустыню цветущие уголки, животным не остается места на Земле, их попросту сметают как ненужный сор. И снова Даррелл бросается в бой: он пишет чудесную книгу «Путь кенгуренка», где дает по-настоящему тонкий анализ положения животных, он показывает серию телепередач, в которых знакомит зрителя с повадками, привычками, образом жизни птиц и зверей и одновременно просит, убеждает: смотрите, как они хороши, как много мы потеряем нужного, необходимого нам самим же, если животные исчезнут! Какое преступление совершим, если не уберем их от гибели! И как в сущности немного нужно, чтобы помочь им!

Сейчас почти в каждой стране созданы национальные парки, заповедники, резерваты, охватывающие сотни тысяч квадратных километров. Многих это успокаивает, дает повод говорить: разве этого мало для того, чтобы гарантировать спасение животных? Есть ли повод для беспокойства? Да, отвечает Даррелл, есть. Национальные парки и заповедники — это хорошо, но недостаточно. Стоит на их территории оказаться месторождению нефти, золота или, не дай бог, урана, и едва ли статус неприкосновенности, которым обладают национальные парки, окажется достаточным препятствием для дельцов. Поэтому, пока каждый человек, будь то частное лицо или государственный деятель, не поймет всей важности проблемы охраны животных, никаких гарантий нет и быть не может. Все творчество Даррелла, вся его общественная деятельность направлены на то, чтобы подготовить действительно надежную почву для таких гарантий.

Нельзя не сказать несколько слов о Даррелле как писателе. Человек XX века устал от сутолоки больших городов, от шума, от вечной спешки и нервного напряжения. Поэтому книги о природе, в частности о животных, пользуются сейчас огромным спросом, и множество авторов осваивают сейчас этот жанр. Но у Джеральда Даррелла нет соперников: его книги ожидаются с нетерпением и расходятся с молниеносной быстротой. В чем причина такого исключительного успеха? Мне кажется, прежде всего в обаянии самого Даррелла. В его доброте, в его милом характере, в умении находить везде друзей. Но это — дух книги. А кроме духа есть еще и мастерство писателя: способность необыкновенно тонко видеть основную сущность природы незнакомой страны, подмечать наиболее характерные ее черты наряду с умением подбирать, находить удивительно верные, удивительно новые, нестандартные, подчас совершенно неожиданные, но всегда объемные средства передачи своих впечатлений и переживаний. Именно это делает повествование Даррелла легким, живым и выразительным. У него счастливым образом сочетаются умение видеть и умение рассказывать, а ведь в этом-то и проявляется настоящий талант.

Главные герои книг Даррелла — животные. Среди них нет противных, некрасивых, безобразных: все они по-своему хороши, и для каждого из них Даррелл находит теплые слова. Именно поэтому образы животных у Даррелла так сугубо индивидуальны и так до слез трогательны. Они запоминаются так, будто ты сам их видел, сам заботился о них, сам любил. После Сетона-Томпсона я положительно затрудняюсь назвать другого такого мастера

анималистического портрета.

И еще одна прекрасная черта творчества Джеральда Даррелла — его неподражаемый юмор. Юмор Даррелла — доброжелательный, спокойный, но тонкий и вездесущий. Юмор не как самоцель, а как жизненная философия, как способ подчеркнуть что-либо наиболее важное, наиболее типичное, как средство борьбы с трудностями. Юмористическое восприятие всего, что не касается трагической судьбы животных, составляет одну из самых привлекательных черт характера Даррелла.

Нужно добавить, что книги Джеральда Даррелла имеют огромную познавательную ценность. Как бы мимоходом, исподволь он может рассказать о жизни животного так много, что другому специалисту-зоологу добавить почти нечего. И все эти сведения абсолютно достоверны, далеки от претензий на сенсационность. Тому, что пишет Даррелл, можно верить на сто процентов. «Перегруженный ковчег», как я уже говорил, — первое произведение Даррелла, «Гончие Бафута» — как бы продолжение, рассказ о второй поездке в Западную Африку в Камерун. Много лет прошло с тех пор, как Джеральд Даррелл странствовал по тропическому лесу и травянистым равнинам Камеруна. Много совершилось событий. Камерун обрел долгожданную свободу, в стране строят новую жизнь сыновья тех, кто сопровождал Даррелла во время странствий. Но так же прекрасны остались девственные леса, и все так же звенит в них по ночам хор насекомых и древесных лягушек, а лемуры-галаго неторопливо перебираются с ветки на ветку. Молодая республика много внимания уделяет вопросам охраны природы, охраны животных, и в том, что находится для этого желание и средства, есть доля заслуги Джеральда Даррелла.

В. Флинт.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке RoyalLib.ru](http://royallib.ru)